

НИКОС ҚАЗАНДЗАКИС



ҚАПИТАН МИХАЛИС



ВЫРГОРОД

Никос Казандзакис

Капитан Михалис

ООО "Выргород"

1953

УДК 821.14
ББК 84(4Гр)

Казандзакис Н.

Капитан Михалис / Н. Казандзакис — ООО "Выргород", 1953

ISBN 978-5-905623-22-6

Никос Казандзакис — признанный классик мировой литературы и едва ли не самый популярный греческий писатель XX века. Роман «Капитан Михалис» (1953) является вершиной творчества автора. В центре произведения — события критского восстания 1889 года, долгая и мучительная борьба населения острова против турецкого гнета. Впрочем, это лишь поверхностный взгляд на сюжет. На Крите разворачивается квинтэссенция Войны, как таковой: последнее и главное сражение Человека за Свободу. На русском языке публикуется впервые.

УДК 821.14

ББК 84(4Гр)

ISBN 978-5-905623-22-6

© Казандзакис Н., 1953
© ООО "Выргород", 1953

Содержание

От автора	5
Глава I	8
Глава II	29
Глава III	52
Глава IV	67
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Никос Казандзакис

Капитан Михалис

От автора

Когда на склоне лет я принялся писать «Капитана Михалиса», мною руководила сокровенная мечта – сохранить, материализовав в словах, образ мира, увиденный моими детскими глазами. Точнее – образ Крита. Мне неизвестно, как жили тогда дети свободной Греции¹, но критская детвора в ту эпоху героев и мучеников, таких, как капитан Михалис, дышала воздухом неминуемой трагедии. Турки еще топтали нашу землю, но Свобода уже расправила свои окровавленные крылья. В смутные, переломные времена, полные лихорадочной деятельности и надежд, мальчишки на Крите быстро становились мужчинами. Заботы взрослых о благе родины, о свободе, упования на Бога – защитника христиан, который вскоре занесет над турками карающий меч, проникли и в наши души, вытеснив оттуда привычные детские радости и горести.

Живя в ожидании неотвратимой жестокой схватки, мы сизмальства усвоили, что мир разделен на две огромные силы: Христиане и Турки, Добро и Зло, Свобода и Тирания, значит, впереди у нас не игра, а борьба, и настанет день, когда мы вступим в эту борьбу. Коль скоро мы родились под небом Крита, другой судьбы, кроме долга перед нашей многострадальной родиной, у нас нет и не будет.

Могли ли мы видеть, какой ненавистью топорщатся усы христиан и турок, как, злобно чертыхаясь, запирают христиане на засов свои двери, когда на улице показываются вооруженные низами²? Мы, затаив дыхание, слушали рассказы стариков о кровавой резне и о подвигах борцов за свободу Греции. И все мечтали стать похожими на этих старых капитанов, которые разгуливали среди нас по кривым улочкам Мегалокастро³. В белых сапогах, широких шароварах, с торчащими из-за пояса черными рукоятками кинжалов, они выглядели так грозно, будто хищники, притаившиеся в засаде.

И Бога мы тоже представляли себе в обличье старого вояки: он непременно носил широкие шаровары, кинжал и верхом на коне скакал вокруг города. Взрослые его, конечно, не замечали, а мы, возвращаясь из школы, всякий день видели, как сверкает в лучах солнца его копье над мраком турецких кварталов.

На Страстной неделе сердца наши переполнялись горечью. В порыве детской фантазии мы отождествляли муки Христовы со страданиями Крита и в ночь перед Светлым Воскресением молились о том, чтобы вместе со Спасителем воскрес и вознесся наш остров. А в Страстную пятницу не Мария Магдалина припадала к ногам Распятого, отирая волосами святую кровь. Это он, наш Крит, сам окровавленный и страждущий, стремился повторить участь Христа.

Беды нашей родины были нашими бедами. Все мы думали только об одном: как бы поскорей вырасти и вслед за отцами и дедами прокладывать путь к свободе, уже проторенный Грецией.

¹ Материковая часть Греции получила независимость в результате национально-освободительной борьбы против турецкого господства (1821–1829). Крит был освобожден от турок и присоединен к Греции в 1913 г.

² Солдаты (*тур.*).

³ Старое название города Ираклион. В переводе значит «большая крепость» (*греч.*). Именно потому переводчик зачастую использует этот топоним в женском роде. Это тем более оправдано, поскольку в оригинале Казандзакис нередко в женском роде употребляет название острова Крит (*прим. ред.*).

Наше детство было озарено пожаром восстаний. Мегалокастро была в те годы лишь убогим скоплением лачуг, прилепившихся к исхлестанному свирепыми волнами побережью. Не хлебом единым, не семейными хлопотами жили наши мужчины. Нет, Мегалокастро и впрямь была крепостью, живущей по неписанным законам осадного положения. И каждый житель был одним из ее бастионов. Во главе горожан стоял святой Мина, покровитель Мегалокастро. Икона с нашей небольшой церкви изображала его верхом на сивом коне, с обагренным кровью копьем. Смуглый лик, короткая кудрявая борода, суровый взгляд. Вокруг иконы громоздились серебряные руки, ноги, глаза, сердца – дары горожан, моливших о спасении. Но не думайте, что святой Мина – это просто застывшее изображение. Едва с наступлением темноты христиане запирались по домам и огоньки в окнах, один за другим, гасли, святой Мина резким движением сгребал в сторону серебряные дары, пришпоривал коня, выезжал на улицу и отправлялся дозором по греческим кварталам. Могло ли быть иначе? Ведь Мина был для нас не просто святым, но и капитаном. «Капитан Мина», – так его все звали и шли к нему, зажигали свечи, смотрели на него с немой укоризной за то, что он слишком медлит с освобождением Крита.

Вероятно, многие из тех, кто прочтет «Капитана Михалиса», скажут, что таких рано возмужавших мальчишек не было – и быть не могло, – как не было сильных духом и телом мужчин, страстно любивших жизнь и презиравших смерть. Неверующим не дано узнать, какие чудеса творит вера. Но дано понять, что душа человека становится всемогущей, когда ею овладевает великая идея. В годину тяжких испытаний вдруг осознаешь, что в тебе заключена нечеловеческая сила, и становится страшно, ибо нет больше оправданья низким, недостойным помыслам и поступкам и нельзя винить в них судьбу, обстоятельства, окружающих, только ты один в ответе за все, что бы ни совершил, что бы с тобой ни случилось.

Задумайтесь об этом, и не осуждайте безумцев, стремящихся к невозможному, ведь в таком стремлении – высшее достоинство человека. Когда он не поддается малодушию, не слушает того, что подсказывает ему бескрылый здравый смысл, и вопреки ему борется, надеется на чудо, вот тогда-то и происходят чудеса – невозможное становится возможным.

Если греческий народ выжил, выстоял, победил в борьбе против стольких внешних и внутренних – да-да, в особенности внутренних – врагов, если он пережил вековые невзгоды, голод и рабство, то этим он обязан отнюдь не здравому смыслу, а чуду, неугасимой искрой теплящемся в сердце Греции. Вспомним хотя бы трех мелких лавочников, основавших общество «Филики Этерия»⁴, или двадцать первый год⁵!..

«Родина, не повезло тебе с правителями! – сокрушается Макрияннис⁶. – Один Бог еще указывает тебе путь!» И в самом деле, только божественный огонь всегда нес Греции спасение: угаснув в одном ее уголке, он тотчас вспыхивал в другом. И благословенное это пламя, невзирая на благоразумные наставления здравого смысла, озаряло души и творило чудеса, когда, казалось бы, нация уже была на краю пропасти.

Сегодня этот огонь горит на Кипре⁷. Рассказывая о Крите и капитане Михалисе, нельзя не вспомнить Кипр и Акритаса⁸ – нашу непреходящую боль и гордость, вновь совершающееся на наших глазах греческое чудо!

⁴ Тайное общество, существовавшее в начале XIX века, целью которого было создание независимого греческого государства.

⁵ Имеется в виду греческая национально-освободительная революция 1821–1829 гг.

⁶ Макрияннис, Иоаннис (1797–1864) – народный полководец, возглавивший борьбу за независимость. После победы революции сел за школьную скамью и обучился грамоте, чтобы написать свои знаменитые «Воспоминания».

⁷ В конце 40-х – начале 50-х годов нашего века, когда создавался роман, на Кипре, бывшем в то время британской колонией, усилилось и начало приобретать революционные формы освободительное движение.

⁸ Псевдоним офицера греческой армии Г. Гриваса (по имени героя византийского эпоса), который создал на Кипре Национальную организацию кипрских борцов (ЭОКА), сыгравшую заметную, но далеко не однозначную роль в борьбе с английскими колонизаторами.

Да снизойдет благодать на этот героический остров! Теперь, когда мир опять загнивает и рушится, находятся люди, поднимающие свой голос против лжи, лицемерия, несправедливости. Кипр сегодня перестал быть точкой на карте, маленьким островом на краю Средиземного моря, – он превратился в определенную судьбой арену, где подвергаются испытанию моральные качества наших современников.

А в благоразумных советчиках и тут нет недостатка. «Ну может ли малая искорка побороть всемогущий мрак?» – недоумевают неверующие. Но настоящие мужчины не отчаиваются, они знают, что и в этом безнравственном, прогнившем мире существуют – пусть лишь для единиц – основополагающие начала, окропленные слезами, потом и кровью. Большинство этих бессмертных начал впервые зародились в Греции. Самые великие из них – свобода и человеческое достоинство.

Нашим миром правит таинственный, суровый и непреложный закон (не будь его, человечество погибло бы тысячи лет назад): зло торжествует в начале, но терпит поражение в конце. Поэтому уделом человека становится тяжелая, жестокая борьба. Именно в ней он должен заслужить свое право на жизнь. Свобода, это высшее благо, не дается в дар ни Богом, ни человеком. Непокорная и неподкупная, переносится она из страны в страну, от сердца к сердцу, туда, где готовы драться за нее. И вот она уже твердо, решительно шагает по обгащенной кровью земле Кипра.

В поддержку Кипра через морские просторы, мимо Додеканесских островов, шлет свой голос Крит:

– Держись, брат! Я, как и ты, был распят, мучился и воскрес. То же будет и с тобой!

«Судьба, – пишет далее Макрияннис, – никогда не баловала греков. С давних времен и донныне хищники всех мастей пытались сожрать нас, вылакать до дна нашу чашу. Не тут-то было. Закваска всегда остается». Он называл это закваской, а я зову неугасимой искрой, живущей в сердце Греции.

Да, она сгорает, подобно сказочной птице феникс, но восстает из пепла обновленной. Этот народ никогда не исчезнет, никаким войнам не стереть его с лица земли. Видно, правы мы были в детстве, видя Крит в облике распятого Христа. А нынче, уверен, маленькие киприоты отождествляют Страсти Господни со страданиями родного острова, незыблемо веря (как и мы верили!) в его Воскресение.

Вспомните: в одном из апокрифов говорится, что любимый ученик Христа, Иоанн, стоял у креста и глазами, полными слез, смотрел на распятого Спасителя. Он видел, как искаженное болью лицо Иисуса постепенно теряло знакомые черты. Иоанна вдруг охватил страх: то было уже не лицо Христа, а лица тысяч распятых – мужчин, женщин, детей. А потом лица исчезли. На кресте остался только распятый крик.

Этот пригвожденный, полный страдания и надежд на Воскресение крик и есть Греция.

Никос Казандзакис

Глава I

Капитан Михалис злобно заскрежетал зубами. Из-под черных усов сверкнул правый клык. Недаром в Мегалокастро его прозвали Капитан Вепрь. И в самом деле: когда он злился, то круглые, потемневшие от гнева глаза, и короткая негнущаяся шея, и клык, торчащий изо рта, делали его похожим на необузданного дикого кабана, который при виде врагов чуть присел на задние ноги и замер, изготовившись к прыжку.

Скомкав письмо, капитан Михалис сунул его за широкий шелковый кушак. Стоило столько времени разбирать написанное по складам, чтобы раскумекать, наконец, о чем речь!.. А речь о том, что племяш опять не приедет на Пасху. И в этом году не явится к убитой горем матери и несчастной сестре. Он, видите ли, все еще учится! Сколько можно! На кой дьявол нужна эта наука? Сказал бы прямо: стыдно людям в глаза глядеть! Эх, брат Костарос, осквернил твой баловень-сын нашу кровь – на еврейке женился! Да будь ты жив, подвесил бы его за ногу к потолочной балке, словно бурдюк!

Капитан Михалис вскочил, едва не ударившись головой о потолок своей лавчонки (ростом он был настоящий великан). От резкого движения развязался черный бахромчатый платок, сдерживавший колючие волосы. Он подхватил его, свернул жгутом и опять туго стянул свою огромную голову. Затем бросился к двери и распахнул ее настежь, впустив свежий воздух.

Молодой приказчик Харитос поспешно юркнул в угол. Это был черный как смоль деревенский паренек, лопухий, с быстрыми испуганными глазами. От капитана Михалиса его отделяли груды парусов, брезентовые тюки, толстые железные цепи, якоря и другие сложенные в лавке корабельные снасти, но огромная фигура хозяина, едва поместившаяся в дверном проеме, заслонила от глаз Харитоса все остальное, хоть он и не смотрел на приказчика, а устремил свирепый взгляд вдаль, в сторону порта. Капитан Михалис приходился Харитосу дядей, но парень называл его «хозяин» и трепетал даже перед его тенью.

– Мало мне своих хлопот! – ворчал капитан Михалис. – И чего ему, собаке, нужно? Зачем зовет меня к себе в конуру? У меня вон с племянником морока! Просила мать написать ему письмо, я и написал. Но лучше, если ноги его здесь не будет!

Он посмотрел налево: в гавани всегдашний гул и неразбериха, моря не видать от баркасов и лодок, по пристани между бочками с оливковым маслом, вином и горами сладких рожков снуют туда-сюда купцы, моряки, лодочники, грузчики, орут, ругаются, нагружают и разгружают повозки. Все спешат управиться с делами до захода солнца, пока не заперли крепостные ворота. Несколько грубо размалеванных женщин-мальтиек стоят на берегу и хрипло переключаются, подавая знаки груженному рыбой пузатому мальтийскому паруснику, что становится на причал.

Дымное солнце клонится к горизонту. Уходит последний день марта. Под северным ветром, пронизывающим всю Мегалокастро, торговцы потирают руки, приплясывают, глотают – кто отвар из шалфея, а кто ром для сугреву. Вдали виднеется запорошенная снегом вершина Струмбуласа. Еще дальше грозно высятся темно-синие вершины Псилоритиса. В глубоких, защищенных от ветра впадинах причудливым белым узором застыли полосы слежавшегося снега. А над горами сталью мерцает чистое небо...

Капитан Михалис теперь не отрываясь смотрел на Куле – большую, добротню сложенную башню, стоящую справа от входа в гавань. Ее украшал крылатый венецианский лев из мрамора. Мегалокастро обнесена неприступными валами и крепостной стеной с высокими башнями. Эти укрепления возводили в стародавние времена христиане-райя⁹, чьей только кровью они не политы – и венецианцев, и турок, и греков. Кое-где на стенах еще сохранились камен-

⁹ Христиане, подданные Османской империи.

ные венецианские львы, сжимающие в когтях Евангелие, да турецкие топоры – память о том кровавом осеннем дне, когда турки после долгих лет безнадежной осады ворвались, наконец, в Мегалокастро. А нынче замшелый камень сплошь зарос чертополохом, крапивой, смоковницами и кустами каперсов.

Капитан Михалис отвел глаза, на висках вздулись жилы. Там, в подземелье башни, о стены которой то и дело разбиваются волны, была проклятая темница, где сгноили в цепях многих греческих воинов. Каким бы крепким ни было тело критянина, а дух все же крепче... Отчего, Господи, не дал ты нам стальных тел, чтоб могли мы жить сто, двести, триста лет, до тех пор, пока не освободим Крит?! А после пусть обратимся в прах!

И снова вскипел от негодования капитан при мысли о племяннике, живущем на чужбине.

Учится, черт бы его побрал! Есть уж в роду один ученый – Сиезасыр, – вполне хватит! Портки узкие, так что задница еле влазит, на носу стекляшки, а в голове ветер гуляет! Тьфу!

Капитан Михалис сплюнул с такой яростью, что плевок едва не залетел в лавку кира¹⁰ Димитроса, торговца пряностями.

Вот до чего докатился славный род Дели-Михалиса, грозы турок!

Перед глазами как живой предстал покойный дед Дели-Михалис. Нет, не может он быть покойным, пока живы сыновья его и внуки. Старики и сейчас еще вспоминают, как бродил он по критскому побережью: остановится, козырьком приставит к глазам свою лапищу и вглядывается в морскую даль – не покажутся ли на горизонте корабли москвитов. Или заломит лихо феску, подопрет стену темницы Куле и напевает прямо в лицо туркам: «Москвит сюда идет!» Были у него, говорят, длинные волосы и борода, ходил он в сапогах с высокими голенищами, которые подвязывал к поясу и никогда не снимал. И рубаху носил только черную: порабощенный Крит всегда одевался в траур. А по воскресеньям, отстояв обедню, вешал за спину старинный лук да колчан со стрелами – так и разливал по деревне.

Да, были люди! – вздохнул капитан Михалис, сдвинув брови. Могучие как дубы! И жены им под стать. А мы что – чахлая трава!.. Измельчал народец, дьяволу душу продал!

Вслед за дедом вспоминалась и бабка – страшная, костлявая, под длинными ногтями чернота. Уже в глубокой старости покинула она свое окруженное рвом жилище, многочисленное семейство и переселилась в пещеру у подножия Псилоритиса. И еще двадцать лет в этой норе прожила. Внучка, вышедшая замуж за своего, деревенского, каждое утро таскала ей ячменный хлеб, маслины да бутылку вина (воды и в самой пещере было предостаточно). А на Пасху два красных яичка – чтоб старуха не забывала Господа нашего Иисуса Христа. Бывало, выйдет старуха из пещеры и стоит у входа, оборванная, растрепанная, седая – ну ровно ведьма! Поглядит-поглядит на солнце, помашет костлявыми руками, то ли благословляя, то ли проклиная кого-то, и снова скроется в каменном зеве. А как-то утром на двадцать первый год не вышла из пещеры. И люди все поняли, взяли священника и отправились туда с факелами. Старуха уж окоченела – лежала, скрючившись и скрестив руки в маленькой ямке, точно в купели.

Капитан Михалис, потрянув головой, отбросил от себя воспоминания о прошлом.

В лавке напротив на низеньком диванчике сидел, поджав ноги, кир Димитрос – известный выпивоха. Держа в руках мухобойку из конского волоса, он лениво отгонял мух от мешочков с гвоздикой, мускатным орехом, хиосской мастикой¹¹, корицей и от фляг с лавровым и миртовым маслом. Лицо у кира Димитроса вечно недовольное, желтое, обрюзгшее, глаза припухшие. Он то чесался, то зевал и уже готов был погрузиться в дрему, как вдруг ему почудилось, будто капитан Михалис с противоположной стороны улицы повернул голову и смотрит

¹⁰ Кир – сокращенная форма от «кίρος» – господин (*греч.*).

¹¹ Мاستика – ароматическая смола, которую в странах Востока употребляют как жвачку, а также водка, настоенная на этой смоле.

на него. Кир Димитрос поднял было мухобойку, чтобы поприветствовать грозного соседа, но тот уже отвел взгляд, и кир Димитрос опять принялся зевать.

Капитан Михалис вновь достал из-за кушака смятое письмо и разорвал его в клочья.

Мало одного учителяшки, что опозорил наш род, так еще один выискался! И ведь чей сын – брата Костароса, того самого, который когда-то факелом поджег пороховой склад и взорвал к чертям монастырь Аркади¹² вместе со всеми святыми, монахами, христианами и турками!..

На улице, ведущей в гавань, появился человек в старом шерстяном пальтишке. Это Вендусос, замечательный музыкант: никто не сравнится с ним в игре на лире. Он заказал для своей таверны бочку кисамосского¹³ вина и торопился его получить. Но, завидев издали капитана Михалиса в платке, надвинутом по самые брови, почел за лучшее обойти его стороной. Старый черт опять не в духе! Ему только попадись под горячую руку.

Солнце уже зацепилось за вершины Струмбуласа. По улицам легли длинные тени. Белые минареты порозовели. В порту все реже слышались выкрики торговцев, рабочих и лодочников – видно, уже надорвали глотки за день. Даже бродячие собаки перестали лаять. Капитан Михалис достал из-за кушака кисет и свернул самокрутку. Гнев постепенно улетучивался. Капитан погладил пышную, цвета воронова крыла бороду и улыбнулся. Опять сверкнул белый клык.

– Дай Бог здоровья сыну моему Трасакису, – пробормотал он, обращаясь к самому себе. – Уж за него нам краснеть не придется. Этот подведет брандер¹⁴ и под своего дядьку Сиезасыра, и под этого талмудиста, который не постеснялся смешать нашу кровь с иудейской. Да, только Трасакис ныне опора нашего рода!

Такие мысли вновь примирили капитана Михалиса с жизнью и с Богом. В самом деле, грех обижаться на Всевышнего.

Послышался стук башмаков на деревянном ходу. К нему робко приблизился Али-ага¹⁵, безбородый старик турок, одетый бедно, но чистенько. С испугом он смотрел на капитана Михалиса и молчал.

– Ну, чего пришел?

Капитан Михалис не выносил этого старого слизняка: липкий какой-то, угодливый, по вечерам сидит с соседками-гречанками, вяжет носки и чешет языком, как баба.

– Хозяин, – прошамкал старик, – меня Нури-бей прислал. Он просит сделать милость и пожаловать ныне вечером к нему в конак¹⁶.

– Ладно! Он ведь уже посылал ко мне своего арапа. Проваливай отсюда!

– Уж очень ты ему нужен.

– Пошел вон, кому говорят!

Капитану Михалису было противно слушать тоненький, как у евнуха, бабий голос турка. Али-ага передернул плечами от вечернего холода и заковылял прочь.

И зачем это я понадобился этому турецкому псу? Чего я не видел в его хоромах? Коли приспичило, пускай ко мне идет! Обернувшись, он крикнул:

– Эй, Харитос! Оседлай-ка мне кобылу!

Ему вдруг захотелось проехаться верхом, да так, чтоб ветер свистел в ушах. Дед, бабка, племянник, Нури-бей... Может, хоть верховая езда освободит его от тяжких раздумий... Но именно в тот миг, когда капитан Михалис протянул руку, чтобы снять с гвоздя ключ и запереть лавку, в конце улицы протяжно и торжествующе заржал конь. Он узнал это ржание и выгля-

¹² Монастырь на Крите, взорванный изнутри в 1866 г. осажденными греками – участниками национально-освободительного восстания против турецкого владычества.

¹³ Кисамос – город на Крите.

¹⁴ Судно, нагруженное зажигательными и взрывчатыми веществами; использовалось для поджога вражеских кораблей (нем.).

¹⁵ Ага – господин (тур.).

¹⁶ Дом (тур.).

нул. Гордо выгнув шею, по улице гарцевал тонконогий породистый рысак. От черной и блестящей, как маслина, шкуры шел пар. Толстый и босой турчонок гордо прогуливал расседланного жеребца под уздцы, чтоб поостыл немного. Издалека, видно, примчался конь – весь в пене.

Фыркая, он встряхивал мокрой гривой, ржал и, перебирая стройными ногами, цокал копытами по камням мостовой.

– Глядите, глядите, жеребец Нури-бея! – послышалось из цирюльни Параскеваса.

Несколько небритых мужчин, а один даже с намыленными щеками, выскочили на улицу и, разинув рты, любовались конем.

– Ох, люди добрые, – воскликнул здоровяк с козлиной бородкой, – вот кабы мне сказали: выбирай, или конь Нури-бея, или его ханум, Богом клянусь, выбрал бы коня.

– Ну и умен ты, брат, как бочка! – заметил маляр Яннарос, за колючие усы торчком его прозвали Рысью. – Да ведь Эмине-ханум первая красавица в этих краях! Ей всего двадцать лет, и, по слухам, огонь, а не женщина! А ты ее со скотиной равняешь.

– Нет, что ни говори – конь лучше! – упорствовал верзила. – С бабами одна морока.

– А по мне, земляки, все едино, – заключил кир Параскевас, который с ножницами в руке тоже вышел на улицу. – Ни бабы, ни коня даром не надо. На что лишняя обуза?

– Ишь ты, как запел, лукум сиросский! – повернулся к нему мужик с козлиной бородкой. – Да, если хочешь знать, вся наша жизнь обуза, и только могила от нее нас избавит. Так что мой тебе совет: лучше не перечь критянам, а то нам ежели что не по нраву, так можем и живьем в землю закопать...

У бедного цирюльника мороз пошел по коже. «И занесла тебя нелегкая с Сироса к этим дикарям, – подумал он. – Все заросшие, мрачные да, поди, не моются годами – не знаешь, с какой стороны к ним и подступиться. Сядет такой в кресло, развалится, да еще любит себя в зеркале – то ли круторогий баран, вожак отары, то ли святой Мамас, покровитель скотоводов, которого кир Параскевас видел как-то на иконе: грива, с какой и десять цирюльников не совладают, усищи, борода по колено... обычными ножницами не возьмешь». Тем более что у себя на Сиросе он привык к тонкой работе. Но делать нечего: покружит-покружит цирюльник возле такого клиента, взмахнет полотенцем и принимается скрепя сердце намыливать ему щеки.

– Живьем? – в ужасе переспросил кир Параскевас. – Как это – живьем?

– А так. Ты что же, нашей поговорки не слыхал?

– Какой такой поговорки?

– Болтун – все одно что мертвец.

Цирюльник прикусил язык и юркнул обратно в помещение.

Тут к ним, прихрамывая, подошел Стефанис, бывший капитан «Дарданы», которую турки потопили во время восстания 1878 года. Осколком турецкого снаряда ему тогда раздробило колено. С тех пор приучился он ковылять с палкой по суше. А палок у него две: одну, прямую как свеча, он берет, когда дела на Крите идут хорошо, а другую, кривую да сучковатую, – когда все наперекосяк и в воздухе пахнет порохом. Сегодня Стефанис вышел с кривой палкой.

– Вы чего расходились, мужики? – вмешался он. – Дай-ка я вас рассужу.

– А вот скажи, капитан Стефанис, ты бы кого выбрал – коня Нури-бея или Эмине-ханум?

– Дураки! Тоже мне задача! Да я бы оседлал коня, как святой Георгий, а позади посадил бы Эмине-ханум!

– Э, так-то и я согласен!

– И я тоже! И я! – загоготали остальные. – Вот истинные слова!

Капитан Михалис тем временем не сводил глаз с коня. Черным лебедем проплывал он мимо – горячий, норовистый, – изогнув свою точеную шею. Будто узнав капитана Михалиса, он ударил передними копытами в землю. Остановился и заржал. Не удержавшись, капитан Михалис подошел к коню вплотную. Турчонок, увидев перед собой капитана, тоже застыл на месте.

Михалис провел тяжелой ладонью по мощной взмыленной груди коня, украшенной бирюзовым ожерельем и полумесяцем из слоновой кости, взъерошил мокрую гриву, с наслаждением потрепал морду, похлопал по спине. И гордое, грациозное животное с радостью покорилося этим ласкам.

Огромными, с поволокой глазами конь смотрел на человека, обнюхивая его голову, фыркая, жарко дыша ему в затылок. Играючи, он вдруг сорвал с капитана Михалиса черный платок, стал размахивать им в воздухе и ни за что не хотел его отдавать, весело кося глазом на чернородого. У того аж сердце зашло. Никем в жизни он так не любовался. Ласково, доверительно Михалис заговорил с конем, а тот, словно желая лучше расслышать, нагнул голову и потерял о плечо. Затем резким движением капитан выхватил мокрый от пены платок, водворив его на место. После чего оборотился к турчонку, сделав знак, что свидание закончено и можно вести коня дальше.

– Нет, все-таки пойду, – неожиданно для себя пробормотал капитан Михалис, провожая коня взглядом до самых ворот порта. – Непременно пойду!

Забыв о том, что приказал оседлать кобылу, он запер лавку и тут же собрался идти к Нури-бею.

Капитан Стефанис, видевший всю эту сцену, подошел, опираясь на кривую палку, и поздоровался. Старый морской волк был один из немногих, кто не боялся бешеного нрава Михалиса. Что ни говори, а ведь он сам из породы настоящих мужчин. Сколько раз приходилось ему прорываться на своей «Дардане» сквозь турецкое окружение, чтобы доставить в осажденные порты продовольствие и боеприпасы! А когда его корабль обстреляли и потопили, и сам он был тяжело ранен, то все ж доплыл до бухты Святой Пелагеи, зажав в зубах пакет с посланиями Афинского комитета прославленному капитану Коракасу¹⁷, вожаку повстанцев в долине Месара.

Правда, теперь он уж не тот, калекой стал, обнищал совсем, ходит в отрепьях, а капитанские ботфорты все в заплатках. С утра до вечера слоняется по берегу, на чужие баркасы любуется, с грустью вдыхает запах смолы, прислушивается к командам, к скрежету якорей, опускающихся на дно. Но, как ни одряхлел, ни обносился, душа-то, как прежде, молодая и рвется в море, подобно ростру на носу корабля.

– Слышал разговор возле цирюльни? – спросил Михалиса старик. – А что бы ты выбрал – коня или Эмине-ханум?

– Не люблю пустой болтовни! – бросил капитан Михалис и двинулся своим путем.

Но старого Стефаниса не так-то легко было обескуражить: он, едва поспевая, заковылял следом.

– Поговаривают, что Нури-бей вывез ее из Константинополя и будто она черкешенка, да раскрасавица, из тех, что мужиков с ума сводят. Мне про это мои соседки, Блаженные, рассказывают, уж им-то все известно, что творится в доме у бея, от арапки, кормилицы Эмине. Сам знаешь, у баб языки длинные, прости, Господи!

– Хватит! – рявкнул капитан Михалис. – Я не баба и языком чесать не привык!

Ну нет, подумал Стефанис, так просто ты мне глотку не заткнешь! Мне турецкие армады были не страшны, неужто я тебя испугаюсь? Все выложу, что думаю, и плевать мне, нравится это тебе или нет!

– Нури-бей – твой побратим, капитан Михалис, – продолжал он. – Значит, тебе должно быть интересно, как он живет... Говорят, целыми днями сидит он у ее ног, как верный пес, и глаз с нее не сводит. А она может взять да прижечь ему цигаркой шею и знай себе хохочет... Или вдруг нападет на нее тоска по прежнему житью – вспомнит кибитки, ржание коней, запах

¹⁷ Коракас, Михаил (1797–1882) – критский военачальник, герой греческой национально-освободительной революции. Принимал активное участие в критских восстаниях 1841 и 1866 гг.

навоза и кумыса... Ух, что тогда с нею делается! Бьет, что под руку попадется: фарфоровые чашки, флаконы с духами, арапку свою...

Капитан Михалис зарычал от злобы и своей лапищей отпихнул старого моряка, но тот теперь, если б даже захотел, уже не смог бы остановиться. Наверно, лучше было не вступать в разговор с этим нелюдимом, да, коль уж развернул паруса, обратной дороги нет.

– А еще говорят, ханум ревнует Нури-бея к коню. Позавчера ночью он захотел ее обнять, но не тут-то было. «Сперва, – молвит, – сделай, что попрошу». – «Все, что пожелаешь, моя повелительница! Все здесь твое!» – «Тогда выведи во двор своего коня, зажги фонари, чтоб я могла видеть как днем, и зарежь у меня на глазах!» Бей ничего не ответил, только вздохнул да заперся у себя в покоях. Всю ночь будто метался из угла в угол и стонал, как раненый зверь. Так вот, мне Али-ага сказал, а он врать не станет, что Нури-бей нынче позвал тебя к себе в дом. Стало быть, тебе не помешает знать, что вышло у Нури-бея с его ханум.

Капитан Стефанис, отдуваясь, довольно потирал красные, мозолистые руки: добился-таки своего, все ему выложил.

– Вот, капитан Михалис, о чем мне Блаженные рассказали. Хочешь верь, хочешь нет.

Капитан Михалис смерил старика презрительным взглядом.

– Вас, корабельных крыс, хлебом не корми – дай посплетничать про чужих жен!

– А вам, жукам сухопутным, на все наплевать, кроме конского дерьма! – в тон ему ответил Стефанис, но вдруг, словно испугавшись своей дерзости, быстро заковылял прочь и скрылся за углом.

Капитан Михалис надвинул платок на лоб так, что бахрома упала ему на глаза. Устал он от этих людишек, никого не хотел видеть. Тяжело печатая шаг, он направился в турецкий квартал.

Солнце уже садилось за горы. Протрубили трубачи, низами крепко-накрепко заперли с четырех сторон крепостные ворота. До восхода никто уже не войдет и не выйдет. Таков закон укрепленной крепости.

Сгущались сумерки. В такой час ни одна женщина на улицу не выглянет. Одно за другим загорались окошки, в домах накрывали к ужину. Степенные хозяева торопились восвояси, и только бродяги-пьянчужки рыскали по темнеющим улицам – где бы пропустить стаканчик.

Блаженные – так прозвали трех сестер-близняшек – жадно прильнули к щелкам в двери своего дома. Самое большое их удовольствие – подглядывать за прохожими и потом судачить о них. Эти старые девы были похожи на кроликов: волосы, брови и ресницы белесые, а глаза круглые, красные. При дневном свете они плохо видели и потому с нетерпением дожидались вечера, чтоб занять свой пост у двери. От их злых языков и сверлящих, недобрых глаз не могла ускользнуть даже муха. Их дом стоял на углу оживленной улицы, как раз где заканчивался турецкий квартал и начинались жилища христиан. Сестры всех видели, все подмечали и каждому давали прозвище, от которого человек уже не мог избавиться до конца жизни. Это они прозвали капитана Михалиса Вепрем. И брату его, учителю, тоже они дали прозвище – Сиезасыр. Идет молва, что однажды отец будто бы привез из деревни большую головку сыра, а сын-грамотей полюбопытствовал: «Отче, что сие за сыр?» Уж как о том проведали Блаженные – неизвестно, да только с той поры так и прилипло к брату: Сиезасыр да Сиезасыр.

Целый день сестры в своем полутемном доме жарили, парили, стирали, шили, убирали. Никакая работа им не в тягость. Господь лишил их семьи, детей, так они все заботы перенесли на брата. Кир Аристотелис, аптекарь, – золото, а не человек. Трудится, бедный, с утра до поздней ночи в своей аптеке, даже ноги стали опухать, потому как за весь день не присядет ни разу. Кроткий, молчаливый, с лицом, позеленевшим от натуги, таскал ежедневно кир Аристотелис сестрам плетеные корзины, полные всякой снеди. Он ведь тоже так и остался бобылем. Когда был молод, то и дело сватали ему красивых да богатых невест: любая почла бы за честь пойти за кира Аристотелиса. Его аптека находилась на главной площади Мегалокастро. Полки ее ломи-

лись от всевозможных пузырьков, флакончиков, ароматического масла. Под вечер здесь всегда собирался цвет местных жителей. Рассуждали о мировых проблемах, спорили до туману в голове. А грустный, рано постаревший кир Аристотелис только слушал, устало щуря голубые глазки, и время от времени кивал лысой головой, будто с каждым соглашался. Но думал о своем: да, неудачно прошла жизнь, уж как хотел жениться, а не привелось. И не то чтобы он был уж так охоч до женского полу – Боже упаси! – а просто мечтал весь век о сыне, о наследнике, кому мог бы передать аптеку... Но обычай суров: сперва надо сестер пристроить, а потом самому жениться. Проходили годы, седела голова, выпадали зубы, спина горбилась, а некогда круглые розовые щеки кира Аристотелиса сморщились и обвисли... Теперь уж поздно. Старость не радость... Пора и о царствии небесном подумать... От тоски Аристотелис пристрастился к мастике – не к той, которую пьют, а к той, которую жуют. Теперь весь день, смешивая мази и растирая порошки, он неустанно жевал, а вечерами слушал беседы о свободе воли, бессмертии души и о том, существует ли жизнь на звездах, покачивал лысой головой и про себя твердил: «Жениться-то и сейчас можно, но сына все одно уж не будет... да, не будет...» При этих мыслях почти замирал в руке аптекаря пестик для растирания трав.

Сегодня Блаженные раньше обычного заняли свой пост. На улице был жуткий холод, во все щели так сквозило, что у сестер волосы на голове шевелились, стыли руки, деревенели ножки-палочки. Но Блаженные стойко выдерживали стужу и, прильнув к щелкам, не спускали своих кроличьих глазок с зеленых дугообразных ворот Нури-бея.

– Смотрите в оба! – сказала средняя, Аглая. – Там явно что-то затевается. Помните, что вчера арапка говорила?

– Бей вернулся нынче из деревни прямо сам не свой, – добавила Фалия. – Я видела, как он ногой саданул в дверь, и сразу оттуда послышались страшные вопли. Наверняка на слугах зло срывал.

– Кого же он все-таки выберет – жену или коня? Да уж, незавидная судьба! – хихикнула Фросини.

«Три грации» стрекотали как заведенные, но разом смолкли, отпрянули от двери и переглянулись, заслышав чьи-то шаги.

– Капитан Михалис! – выдохнули они хором и опять приникли к щелям.

Чернобородый великан шел, печатая шаг, почти вплотную к стенам домов. Дышал он тяжело. Бахрома платка падала на брови. Рука, заложенная за широкий пояс, сжимала черную рукоятку кинжала.

Проходя мимо двери, за которой притаились Блаженные, капитан Михалис помедлил, будто ощутил на себе их взгляды, и глаза его метнули молнии в сумерках. Каракатица о трех головах вздрогнула и затаила дыхание. Но великан тут же двинулся дальше и остановился у зеленых ворот. Осмотрелся – кругом ни души, – резко толкнул калитку и вошел во двор Нури-бея.

– Господи помилуй! – воскликнула, перекрестившись, Аглая. – Видали его? Будто пират какой!

– И чего это Вепрь забыл у Нури-бея? Что-то тут нечисто! Держу пари, он задумал купить у него коня.

– А может, Эмине?

Аглая, Фалия и Фросини ядовито засмеялись.

Переступив порог, капитан Михалис застыл на месте. За калиткой его поджидал старый костлявый арап, прислуживавший еще отцу Нури-бея. Он молча, съезжившись, будто пес, сидел у калитки целые дни напролет и смертельно боялся уснуть: во сне он всегда видел, как хозяин его колотит. Начинал плакать, вскакивал с циновки и опять тащился к калитке, где, весь дрожа, свертывался калачиком и ждал рассвета.

Увидев капитана Михалиса, арап попытался подняться, отчего все кости затрещали, и старик принялся стонать от боли. Капитан Михалис легонько похлопал его по плечу, слуга пропустил гостя и вновь рухнул на землю. Капитан Михалис медленно пошел по дорожке между большими горшками, в которых цвели розы и бархатцы. В воздухе витал приятный аромат лимонного дерева, смешиваясь с запахами только что политой земли, навоза и душистой герани. Из глубины сада, где в сумерках белел господский дом, доносились крики домашней перепелки, женский смех. Сквозь забранные деревянной решеткой окна сочился свет.

Понурился, капитан Михалис морщился: запахи турецкого двора его раздражали. И чего я здесь потерял? – думал он. Здесь все турецкиной провоняло.

Пожалуй, еще не поздно вернуться: никто, кроме арапа, его не видал. Приказать бы Харитосу оседлать кобылу, вскочить на нее и промчаться несколько раз по площади, затем под Тремя арками и выбросить все это из головы... Но вдруг он устыдился своего малодушия.

– Не дай Бог, подумают еще, будто я струсил! – пробормотал он сквозь зубы. – Полный вперед, капитан Михалис! – И решительно переступил порог.

Дверь дома была открыта. Над притолокой горел большой фонарь с красными и зелеными стеклами, и в этом красно-зеленом свете посреди комнаты стоял Нури-бей. Он услышал, как стукнула калитка, узнал шаги капитана Михалиса и вышел встретить гостя.

От его коренастой фигуры, круглого лица с черными миндалевидными глазами веяло восточным благополучием и безмятежностью. Густые усы были нафабрены до синевы. Бей был по-своему красив, напоминая тех львов с лунообразными лицами, которых турчанки изображали в давние времена на дорогих коврах. На нем были шаровары из голубого сукна, ярко-красный пояс, из-под белоснежного тюрбана выбивались черные кудри. Все его тело источало пряный, сладострастный запах мускуса.

Он сделал шаг навстречу гостю и протянул пухлую руку с короткими пальцами.

– Извини, капитан Михалис, что потревожил тебя, но дело очень важное.

Капитан Михалис что-то буркнул под нос и последовал за хозяином на мужскую половину. На мгновение в душе его шевельнулось недоброе предчувствие. Он быстрым взглядом окинул пустую комнату. У изголовья дивана светилась большая лампа, в бронзовом мангале тлели уголья. В тепле комнаты разливался запах жженой лимонной кожуры. На круглом столике в углу стояли фарфоровая бутылка с длинным горлышком, две рюмки и закуска.

Они сели на небольшой диванчик у закрытого окна, выходящего в сад. Нури-бей достал из-за пояса черную железную табакерку с перламутровым полумесяцем на крышке, открыл и предложил гостю.

Капитан Михалис угостился табаком и скрутил сигарку. Нури-бей последовал его примеру. Некоторое время они курили молча. Бей несколько раз кашлянул, видно не решаясь начать разговор и боясь, что гость превратно истолкует его и рассердится. Все знали крутой нрав Михалиса: ведь он даже мухе не даст сесть ему на саблю. А новости, которые собирался сообщить ему бей, едва ли можно было назвать приятными.

– Пропустим по маленькой, капитан Михалис? – заговорил наконец Нури-бей. – Ракию специально для тебя заказывал.

– Так что ты хотел мне сказать, Нури-бей? – спросил капитан Михалис и прикрыл рукой рюмку: пить ему не хотелось.

Бей откашлялся и вдавил свою сигарку в пепел мангала. Лицо, склонившееся над раскаленными углями, на миг превратилось в бронзовую маску.

– Все как на духу, – произнес Нури-бей. – Только, прошу, постарайся понять меня, капитан Михалис...

Он немного помедлил, надеясь услышать хоть какой-то отклик от мрачного грека, но тот молчал. Бей встал, прошелся до двери, расстегнул воротник, снова сел. Ему вдруг стали жать туфли. Он незаметно снял их, поставил босые ноги на пол, и прохлада камня чуть-чуть

успокоила его. Он даже хотел подкрутить усы молодецким жестом, но, оробев перед своим неразговорчивым гостем, раздумал, опустил руку.

– Твой брат, капитан Михалис, – вздохнул он, – твой родной брат Манусакас позорит Турцию. Двадцать пятого марта, в ваш праздник¹⁸, он опять надрался, взвалил на плечи ишака и вошел с ним в мечеть – якобы поклониться Аллаху. Я только что из деревни, народ гудит. Большая беда может получиться. Говорю тебе об этом прямо, капитан Михалис, потом меня не вини. Я сказал, ты выслушал, и теперь поступай, как велит тебе твой Господь.

– Налей, выпьем! – буркнул капитан Михалис.

Бей наполнил рюмки.

– Твое здоровье, Нури-бей!

– И твое! – спокойно ответил бей и чокнулся с гостем, не сводя с него глаз.

Они выпили. Капитан Михалис встал, отбросил бахромку с лица.

– Так вот зачем ты звал меня, Нури-бей.

– Если в Бога веруешь, не торопись уходить, – сказал бей. – Пока что это только искра, но из нее может вспыхнуть пожар и сжечь всю деревню. Повлияй на своего брата, скажи, чтоб не позорил нашу веру. Мы из одной деревни, одна земля нас вскормила, так давай вместе наведем порядок!

– Брат старше меня, ему уж шестьдесят, – ответил капитан Михалис. – У него дети, внуки. Он сам себе голова. Чего ж я полезу со своими советами?

– Но ты капитан, в деревне тебя уважают.

– Слова – золото, Нури-бей, я не хочу бросать их на ветер.

Бей закурил губу, с трудом сдерживая гнев. Взглянул на капитана Михалиса, который собирался уходить.

«Настоящий дикарь этот гяур¹⁹, – подумал бей. – А у меня с ним давние счеты. Разве не его покойный брат Костарос, будь он проклят, зарезал в горах моего отца? Я был тогда слишком мал, чтоб смыть кровью кровь отца. Ждал, пока вырасту, да не успел. Собака сам нашел смерть в Аркади – взлетел на воздух вместе с монастырем. А сын его был еще совсем сопляк, вот я и стал ждать, пока он подрастет. И опять мне не повезло: едва усы у него пробились – ускользнул, уехал в Европу учиться... Теперь жди, пока воротится!»

Нури-бей подошел к двери. Гнев и ненависть бушевали в его душе, в эту минуту он за себя не ручался. Обернувшись к Михалису, он злобно впился глазами в его колючую, всклокоченную бороду, поблескивающую в ровном свете лампы. Говорят, он поклялся не стричь ее, пока они Крит не освободят. Что ж, пускай ждет гяур, пока не надоеет! До колен, до самой земли вырастет борода, в землю войдет, корни пустит, но Криту не бывать в руках неверных! Слишком дорогой ценой заплатили мы за него! Двадцать пять лет убивали нас под стенами Мегалокастро. А теперь мы не отдадим наш остров, он стал нашей плотью, и никому его у нас не отобрать.

От нахлынувших воспоминаний об отце, о мусульманах, погибших во рвах под Мегалокастро, тяжело вздохнул Нури-бей. Да, реки крови разделяют его с этим капитаном.

– Ну что надулся, как бурдюк? – Капитан Михалис протянул руку, чтобы отстранить его и выйти. – Не бесись, Нури-бей, все равно не бывать по-твоему!

Сильный характер был у Нури-бея. Умел он сдерживать себя.

– Нет, не уходят так, капитан Михалис. – Голос его звучал вкрадчиво. – Получается, что гость уходит из моего дома обиженным. Если не по душе тебе мои слова, беру их обратно. Я ничего не говорил, ты ничего не слышал. Разве мы не друзья? Я пригласил тебя просто выпить,

¹⁸ День начала освободительной революции против турецкого владычества – 25 марта 1821 г. – отмечается греками как большой национальный праздник. В религиозном календаре это день Благовещения Пресвятой Богородицы.

¹⁹ В исламе – неверный.

закусить. Вот и куропатка из нашей деревни, я ее только что привез, думал, съедим вместе. А заодно вспомним прошлое. Помнишь, капитан Михалис, как мы детьми играли вместе в старые добрые времена?

Он отломил ножку куропатки и протянул капитану Михалису.

– Нет, – отказался тот. – У нас пост.

Нури-бей огорченно всплеснул руками.

– И как же я не подумал! Я достал бы для тебя черной икры, клянусь Магометом! – И налил в рюмки ракии. – Твое здоровье, капитан Михалис! – поднял он рюмку. – Я очень рад, что ты пришел в мой дом, что выпил со мной. Пусть прольется вот так же моя кровь, если я желаю тебе зла! – И Нури-бей плеснул из рюмки на пол.

Капитан Михалис успокоился и опять сел на диван у окна.

– И я не желаю тебе зла, Нури-бей, но ведь честь не велит бросать слова на ветер, – сказал он и осушил рюмку.

Опять замолчали. Бей вспотел, раскрыл окно.

Из сада послышалось радостное, нежное журчание небольшого фонтанчика. В комнату полились запахи цветов и деревьев. На женской половине раздавался звонкий смех.

Нури-бей лихорадочно думал, как возобновить прерванный разговор. А капитан Михалис сидел и слушал плеск воды и женский смех, вдыхал запахи сада, и в сердце у него опять вскипала злоба. Смеются, пируют тут, как хозяева, думал он. А я-то хорош: сижу с турком поганым да ракию попиваю! Он протянул руку и с грохотом захлопнул окно.

– Извини, капитан Михалис, что открыл окно, тебя не спросив, – мягко заметил Нури-бей. – Я думал, тебе тоже душно. – Он снова наполнил рюмки.

Капитан Михалис исподлобья посмотрел на турка. Родились они в одной деревне: один – беem, которому принадлежат здесь все плодородные земли, другой – почти нищим. Отец Михалиса, капитан Сифакас, мог командовать разве что голыми скалами. В те времена ему не позволялось появляться на коне или даже на осле перед грозой христиан Хани-али, отцом вот этого Нури. При виде его старый Сифакас вынужден был спрыгивать на землю, чтобы дать дорогу повелителю. Но как-то вечером капитан Сифакас замечтался и не слез с коня. Тогда Хани-али пустил в ход кнут, и непокорная голова капитана Сифакаса обагрилась кровью. Старик смолчал, затаил в сердце обиду. Христос не мстил, думал он, и мне, православному христианину, мстить не должно... Настанет день, и справедливость восторжествует. А через год примерно вспыхнуло восстание, и старший сын Сифакаса, Костарос, подстерег однажды ночью кровожадного Хани-али в окрестностях Мегалокастро и зарезал его, как ягненка, неподалеку от арки Пендевиса, что в полудне езды от города. И вот теперь в Мегалокастро, в этом большом доме за высоким забором, с садами и фонтанами, живет, как король, сын той турецкой собаки. Ест, пьет, наслаждается с женой, а в тихие вечера гордо гарцует на своем скакуне по греческим кварталам, высекая искры из камня мостовой.

Капитан Михалис достал табак, свернул сигарку и глубоко затянулся. Не раз спрашивал он себя, чего больше в его душе – дружбы, ненависти или презрения к этому турку. Спрашивал – и не находил ответа. Частенько, встречаясь с Нури-беem в узких переулках Мегалокастро или верхом в поле, Михалис глядел на его пышущую здоровьем фигуру и думал: то ли убить его, то ли обнять, как старого друга. Ведь в одной деревне, в одних полях прошло их детство. Вместе бегали наперегонки, играли, дрались и мирились. Но однажды, уже взрослыми мужчинами, столкнулись они верхом на конях за хутором Нури-бея, под аркой Пендевиса. Долго ехали молча. Оба мрачные и подавленные. На Крите опять вспыхнула резня, было убито много и турок, и христиан.

Славные венецианские стены крепости в лучах закатного солнца казались кроваво-красными, зловещими.

Собака! – ругался про себя капитан Михалис. Видеть не могу, как он разъезжает верхом по греческим кварталам и пристаёт к нашим женщинам!

Нури-бей одолевали такие же мысли: сил моих нет глядеть на этого гяура! Напъется и давай скакать на своей кобыле по улице да турок бесчестить! В прошлом году и меня осрамил: схватил за пояс, поднял как мешок и забросил на крышу своей лавки. Сбежалась толпа, подставили лестницу, чтобы я мог слезть. Посмешище.

Нури-бей вспыхнул, повернулся к капитану Михалису и выкрикнул:

– Ну вот что, капитан Михалис, двоим нам тесно в Мегалокастро! Или я тебя убью, или ты меня!

– Как скажешь, Нури-бей! Давай спешимся и посмотрим, кто кого!

Нури-бей опомнился – понял: не совладать ему с таким смельчаком. Вот это настоящий мужчина, думал он, гордый, храбрый! Слова лишнего не скажет, но уж коли откроет рот, то все говорит начистоту. Нет в нем ни капли вероломства. И головы ни перед кем не склонит, даже перед самим Хароном. Счастье иметь такого врага!

– Ладно, не горячись, капитан Михалис, – промолвил, наконец, бей. – Не бери греха на душу... Прости меня за мои слова. Клянусь верой, ни наш Магомет, ни ваш Христос не желают крови. Ты – храбрый, я тоже не робкого десятка. Давай-ка лучше смешаем нашу кровь по-другому.

– Как это?

– Побратаемся!

Капитан Михалис, пришпорив кобылу, вырвался вперед. Сердце колотилось бешено, готово было выскочить из груди. Он даже слышал этот стук вместе с биеньем крови в висках. Но постепенно дыхание стало ровнее и в голове прояснилось. И все же он ощущал какую-то странную тревогу, смешанную с радостью. Побрататься с богачом, сыном бей, и уже не иметь права убить его! Подавить навсегда искушение вонзить кинжал ему в сердце! Хоть он и турок, но им гордится вся Мегалокастро! Не к чему придраться: добрый, щедрый, красивый, обходительный, все при нем, как говорится, настоящий мужчина, черт бы его побрал!

Он натянул повод. Нури-бей, догнав его, поехал рядом. Капитан Михалис даже не обернулся на него.

Так, ни слова не говоря, они подъехали к хутору Нури-бей. Спешились во дворе. Подбежал слуга, забрал лошадей, отвел их на конюшню. Бей хлопнул в ладоши; приковыляла старая служанка, поклонилась.

– Зарежь петуха, того, что с большим гребнем, и достань старого вина, – приказал хозяин. – Да застели две кровати шелковыми простынями. Мы тут поужинаем и заночуем. Ступай!

Нури-бей и капитан Михалис остались вдвоем. Сели, скрестив ноги, друг против друга, посреди двора, под дуплистой оливой, которая, несмотря на старость, густо покрылась душистыми цветами. Солнце село. Вечерняя заря приветливо мерцала сквозь листву.

Чуть погодя Нури-бей вдруг встал, вышел со двора и взял у родника медную кружку, из которой путники пили воду, благословляя Хани-али, выложившего родник камнем. Затем вернулся.

– Во имя Магомета и Христа! – сказал он и вытащил из-за пояса кинжал.

Капитан Михалис закатал рукав рубахи и обнажил загорелую мускулистую руку. Нури-бей наклонился и острием кинжала надрезал вздутую вену. Брызнула кровь – темная, горячая. Нури-бей подставил кружку, и в нее набежало на палец крови. Затем он снял с головы тюрбан, размотал его и туго-натуго перевязал пораненную руку.

– Теперь твоя очередь, капитан Михалис!

– Во имя Христа и Магомета! – торжественно произнес капитан Михалис.

Вынув кинжал, он сделал надрез на пухлой, холеной руке. В кружку опять полилась кровь. Капитан Михалис развязал свой черный платок и перебинтовал им рану на руке турка.

Они поставили кружку перед собой и молча принялись тщательно перемешивать кровь кинжалами.

Был поздний вечер. Из трубы хуторского дома струился дым. В подвале ужинали слуги. Хозяин и гость вытерли кинжалы о волосы, и каждый засунул свой за пояс.

Нури взял кружку, высоко поднял ее.

– Пью за твое здоровье, капитан Михалис, названный брат мой! – зазвучали торжественные слова. – Клянусь Магометом, что никогда не обижу тебя ни словом, ни делом, ни на войне, ни в мирное время! Клянусь всегда быть честным с тобой! Клянусь! Вокруг меня ходит много греков, а вокруг тебя – турок. Будем срывать свой гнев на них!

Сказав это, он прильнул губами к кружке и принялся медленно, глотками, пить смешанную кровь. Выпил половину, вытер губы и протянул кружку капитану Михалису.

Капитан Михалис, взяв кружку обеими руками, сказал:

– Пью за твое здоровье, Нури-бей, названный брат мой! Клянусь Христом, что никогда не обижу тебя ни словом, ни делом, ни на войне, ни в мирное время. Клянусь всегда быть честным с тобой! Вокруг меня ходит много турок, как вокруг тебя – греков. На них и будем срывать наш гнев! – И залпом выпил оставшуюся в кружке кровь...

Капитан Михалис открыл окно и выбросил окурок. Красной звездочкой влетел он в горшок с бархатцами и, коснувшись влажной земли, угас.

Капитан встал с помрачневшим лицом. Бей тоже вскочил на ноги.

– Капитан Михалис, я не хочу, чтобы ты ушел из моего дома с обидой на сердце. Не забывай, мы побратимы.

– Я помню. Если б не это, один из нас давно уже не жил бы на свете!

В голове его молнией пронесся тот вечер на хуторе, под оливой. Вспомнился ужин, старое вино, глубокий сон на шелковых простынях...

Михалис взял бутылку, налил себе рюмку и выпил, опять налил и опять выпил... Только после этого снова уселся на диван.

– Позвал бы, что ли, какого-нибудь своего карлика или шута! – пробормотал он. – Пусть попрыгает, поиграет на бубне, споет амане²⁰, а то я с ума сойду!

Нури-бей обрадовался. Слава Аллаху, Михалис, будь он неладен, кажется, сменил гнев на милость! Что там ни говори, ракия – великая вещь!

И ему захотелось сделать для побратима что-то особенное, необычайное, в знак братской дружбы и любви. Чем бы успокоить, отогреть, хоть ненадолго, это окаменелое сердце? Мысленно бей обшарил в доме каждый уголок, выискивая подарок названному брату. Старые золотые побрякушки в шкатулках, серебряное оружие на стенах, сукно и шелк, кладовые, полные всевозможного добра, – что выбрать? И вдруг мысль полетела к покоям с зарешеченными окнами – там его самая большая драгоценность. Улыбнувшись, бей обратился к гостю:

– Для тебя, названный брат мой, я сделаю сегодня то, чего ни один турок никогда ни для кого не сделает, разве что для кровного брата.

Капитан Михалис в упор взглянул на хозяина, но ничего не сказал и опять наполнил рюмку.

Нури поднялся, подошел к низкой двери, ведущей на женскую половину.

– Мария! – крикнул он.

По лестнице тотчас скатилась старуха арапка: лицо в морщинах, беззубая, скрюченная, как сладкий рожок, на шее мотается золотой крестик.

²⁰ Восточный напев-импровизация.

– Скажи госпоже, пускай возьмет бузуки и спустится к нам!

Арапка с ужасом посмотрела на хозяина.

Нури-бей рявкнул:

– Шевелись!

Арапка исчезла.

Капитан Михалис поставил рюмку, которую уже поднес было к губам, и сердито повернулся к Нури-бею.

– Ты в своем уме?

– Только для тебя, побратим. Я тебе доверяю!

– Ни к чему это. И тебя осудят, и твою жену за то, что показала на глаза чужому мужчине. Да и мне неудобно на нее глазеть.

Бея охватили сомнения. Он готов был раскаяться, но как возьмешь свои слова обратно?

– Тебе я доверяю, – упрямо повторил он.

Затем положил пуховую подушку на низкий диванчик в углу, другую прислонил к стене, чтобы ханум могла там расположиться. Капитан Михалис прикрутил лампу, и мягкие сумерки разлились по комнате. Затем достал из-за пояса четки из черного коралла и, опустив глаза, принялся их нервно перебирать.

В комнате наверху раздались женские голоса, послышались торопливые шаги, хлопанье двери, полилась вода из крана, потом на время все стихло.

Не придет дикарка, думал капитан Михалис. Где это видано? И тем лучше, что не придет! В сто раз лучше. Какой бес меня здесь держит? Ну чего я высиживаю? Уйти, и все тут!

Но только он собрался встать, как заскрипели ступеньки и послышался звон цепочек и браслетов. Нури-бей бросился к двери, распахнул ее, приложил ладонь к груди, к губам и к голове, приветствуя жену.

– Заходи, Эмине, – ласково приговаривал он. – Заходи, моя ханум!

На пороге возникла женщина с круглым, как у Нури-бея, лицом, пухленькая, но изящная, с большими раскосыми глазами, с нарумяненными щеками, подведенными бровями и крашенными хной ногтями. Она, словно ребенка, прижимала к груди небольшое блестящее бузуки.

Войдя, она выставила вперед точеную ножку в красной сандалиии, выгнула шею, но, заметив тень чужого мужчины у окна, сделала вид, будто испугалась, и взвизгнула.

– Да не бойся ты, моя птичка! – сказал Нури-бей, взяв ее под руку. – Это побратим мой, капитан Михалис. Сколько раз я передавал тебе его приветы! А вот сегодня грусть тяготит нам сердце, так будь добра, госпожа моя, сыграй нам на бузуки и спой песни своей родины. Может, полегчает... Мы затем и попросили тебя спуститься к нам.

Капитан Михалис, не поднимая глаз от пола, со всей силы сжимал в руке четки. Много он слышал о красоте этой черкешенки, о ее своенравии, о песнях, которые иногда в байрам звучали из-за частой оконной решетки, завораживая весь турецкий квартал. В ночной темноте собирались на улице турки и христиане – послушать это пение. И души у всех замирали от восторга. А Нури-бей глядел на них из окна с такой гордостью, будто у него в руках все сокровища мира.

По распространившемуся в комнате терпкому аромату капитан Михалис понял, что женщина прошла в угол, где стоял диван с приготовленными беem подушками. Он на миг поднял глаза, встретившись с нею взглядом. Только на один краткий миг.

Эмине-ханум уселась на пуховых подушках, скрестив ноги.

– Как темно! – сказала она со смешком.

Ей, видно, хотелось, чтобы гость хорошо ее рассмотрел.

Нури-бей встал, прибавил света в лампе. В ярком сиянии заблестели щеки, руки и подкрашенные хной пятки черкешенки.

Капитан Михалис снова метнул на нее быстрый взгляд; две бусинки четок лопнули у него в кулаке.

– Добрый вечер, капитан Михалис! – сказала черкешенка, приветливо улыбаясь.

– Добрый вечер, Эмине-ханум, прости меня! – хрипло пробормотал он.

Черкешенка залилась смехом. У нее на родине женщины не закрывают лицо, свободно ездят верхом на лошадях, даже воюют вместе с мужчинами. И любовь там доступна всем. Но отец Эмине продал ее еще ребенком старому паше в Константинополь, а затем ее похитил вот этот бей и привез на Крит. Так Эмине и не успела познать ласки многих мужчин. Потому сейчас так страстно раздувались у нее ноздри, точно у голодной волчицы. Целыми днями сидела она взаперти у зарешеченного окна, поджав под себя ноги, засматриваясь на проходивших мимо молодых турок и христиан – так, что даже грудь щемило. А когда, надежно укутанная в шелковую паранджу, в сопровождении старой арапки, своей кормилицы, выходила она на прогулку, то всякий раз норовила пройти мимо кофейни, где полным-полно мужчин, или спуститься в порт, поглазеть на дерзких грузчиков и лодочников, или же потолкаться у ворот крепости среди крестьян, нестриженных, немых, потных. Раздувая тонкие ноздри, черкешенка жадно вдыхала запахи мужских тел.

– Клянусь Аллахом, – сказала однажды Эмине кормилице, – если б от них не исходил такой запах, я бы на них и не взглянула.

– На кого, дитя мое?

– На мужчин. А у тебя, Мария, много мужчин было в молодости?

– Я верую в Христа, дочь моя, – ответила старая арапка и вздохнула.

Вот так и сегодня Эмине смотрела на капитана Михалиса и раздувала ноздри.

О, сколько раз и с какой гордостью рассказывал ей Нури-бей про этого мужчину! Сколько наслышалась она о его доблестях, о крутом норове, о том, сколько он может выпить и как сторонится женщин! А вот теперь он здесь, перед ней, муж сам позвал его сюда. Она жадно вдыхала воздух, чувствовала необычайное волнение, стеснившее ей грудь.

– Эмине-ханум, – обратился к ней Нури-бей, – спой нам, моя радость, какую-нибудь черкесскую песню, чтобы мы забыли горести этого мира. Повесели мужчин!

У женщины вырвался вхохотущий смех. Она положила бузуки себе на колени, несколько раз ударила нервно по струнам и вскинула голову.

– Что ж ты нам споешь, моя повелительница? – спросил ошарашенный бей.

– А чего душа моя пожелает!

И вот зверем в логове зашевелилось, ожило, запело бузуки. Из уст Эмине полилась звонкая, словно журчащий родник, песня. От этих звуков дом как будто зашатался, закружился и полетел в пропасть. В груди капитана Михалиса глухо застучало сердце. Безудержная радость потекла по жилам, разливаясь по всему телу... Ох, что за схватка разгоралась в той песне! Рушились горы, поле обагрилось кровью турецких аскеров²¹. Капитан Михалис врубился в гущу их верхом на вороном коне Нури-бея, а за ним – тысячи критян, и у каждого на голове черный платок! Несутся вопли из горящих деревень... Как подрубленные кипарисы, падают минареты. Кровь льется рекой, доходит коню по колени, по самый живот. Капитан осматривается: нет, это не Крит, не укрепления Мегалокастро, и море не то, и не те дома. Мечеть тоже другая... Он въезжает в храм Святой Софии! Слезает с коня, осеняет себя крестом, поднимает голову, смотрит на уходящий в небо купол, и ему кажется, что на колокольне опять висят снятые турками колокола и веревку от сердца каждого колокола держит в руках старый звонарь церкви Святого Мины – Мурдзуфлос, только раз в сорок выше ростом. Он бьет в колокола, и они, раскачиваясь, режут, выплясывают, и он вместе с ними качается и ревет, как колокол...

²¹ Аскер – солдат турецкой регулярной армии.

Капитан Михалис сдвинул руками виски. Вдруг все остановилось. Опять перед глазами Крит, и Мегалокастро, и конак бея, и сам бей, не сводящий взора с Эмине. Он вздыхает, то и дело наполняя и осушая рюмку. Голос черкешенки смолк. И словно обломились крылья у души, опять она вернулась в свою темницу.

Некоторое время все молчали. Наконец Эмине шевельнулась, погладила лежащее на коленях бузуки и сказала:

– Это старинная черкесская песня. Ее поют воины-мужчины, когда перед сражением садятся на коней.

Нури-бей встал, чувствуя легкую дрожь в коленях. Налил полную рюмку и подошел к супруге.

– Твое здоровье, дорогая Эмине! – сказал он. – Три вещи любил Магомет, как слышал я от нашего муэдзина, да будет милостив к нему Аллах, – женщин, песни и благовония. Все это воплощено в тебе. Живи же мне на радость тысячу, а то и две тысячи лет! – И, залпом осушив рюмку, причмокнул языком. Затем повернулся к капитану Михалису. – Выпей, побратим, и ты за ее здоровье!

Но капитан Михалис опустил два пальца в налитую по самый край рюмку, раздвинул их, и рюмка лопнула, разлетелась пополам, а ракия разлилась по столу.

– Хватит! – рявкнул он, и глаза его налились кровью.

Эмине, вскрикнув, подскочила на диванчике, восторженно глядя на капитана Михалиса. Затем с вызовом обратилась к мужу:

– А ты так можешь, Нури-бей? Можешь?

Хозяин побледнел. Он напряг правую руку и уже хотел опустить два пальца в рюмку, но вдруг чего-то испугался. Холодный пот выступил у него на лбу. Ему стало стыдно перед женой, и он бросил злой, мутный взгляд на капитана Михалиса. Ну вот, теперь выставил на посмешище перед собственной женой! Не довольно ли терпеть его издевательства?!

Он изо всех сил дернул Эмине за руку.

– А ну марш к себе в комнату!

– Нет, скажи, ты можешь так? – вспыхнула ханум.

– Убирайся! – завопил бей и, схватив бузуки, ударил им о стену. Инструмент разлетелся в щепки.

Черкешенка пренебрежительно усмехнулась.

– Разбить бузуки – это ты можешь, на большее тебя не хватит!

Она соскользнула с диванчика, прошла мимо капитана Михалиса, задев его рукавом и снова обдав терпким запахом мускуса. Он чувствовал, как горит рука, по которой скользнул шелк ее платья.

С улыбкой Эмине раз, а затем второй обошла мужа кругом, смерила его насмешливым взглядом и, расхохотавшись, исчезла.

Мужчины остались стоять посреди комнаты друг против друга. Бей крутил усы, от сильного волнения грудь его вздымалась. Капитан Михалис стоял неподвижно, мрачно глядя на хозяина и кусая губы. Оба держались за рукоятки кинжалов, торчащих из-за пояса.

Губы Нури-бея искривила злобная улыбка.

– Уходи отсюда, капитан Михалис! – процедил он сквозь зубы.

– Уйду, когда захочу, – ответил Михалис. – Наполни рюмку и угости меня!

Бей уже сдвинул рукоять кинжала, посмотрел на лампу: у него мелькнула мысль потушить ее и в темноте броситься на врага – пускай Харон возьмет одного из них.

– Я сказал: налей и угости меня, – тихо повторил капитан Михалис. – Иначе не уйду.

Нури-бей, весь потный, с трудом передвигая будто свинцом налитые ноги, подошел к столу. Он дрожащей рукой поднял бутылку, и ракия, перелившись через край, потекла на жареную куропатку.

– Пей! – прохрипел он.

– Нет, поднеси мне, – сказал капитан Михалис.

Бей зарычал, схватил рюмку и сунул ее в руку гостю.

А тот, важный, нахмуренный, поднял ее повыше.

– Твое здоровье, Нури-бей! Я выполню твою просьбу и скажу брату, чтобы он не позорил турок.

Сказав это, он чуть-чуть пригубил из рюмки, накрепко стянул на голове черный платок и вышел за дверь.

Фонарь в прихожей бросал в темный сад зеленые и красные полосы света. Капитан Михалис, не оглядываясь, спокойно направился к калитке.

Стемнело и еще похолодало. В Мегалокастро одно за другим закрывались окна. Поужинав и помолясь, люди укладывались спать. Только изредка на улицах появлялись случайные прохожие, несколько влюбленных парочек прогуливались под закрытыми окнами, а из освещенных полуподвалов время от времени слышался шум – там шла пирушка.

Блаженные совсем озябли, дожидаясь, когда выйдет от Нури-бея капитан Михалис. А его все не было и не было. Давно уж вернулся брат – как всегда, понурый, неразговорчивый. Поужинали, перебросились несколькими словами о том, что готовить на завтра: в доме не осталось ни угля, ни оливкового масла, ни керосина. Обо всем этом должен был, конечно, позаботиться кир Аристотелис. Сестры были заняты вечерними хлопотами и разговорами: убирали со стола, заваривали на ночь ромашку для пищеварения, облачались в длинные, до пят, ночные рубашки, молились перед сном, но всеми мыслями были у зеленых ворот Нури-бея.

А капитан Михалис направился домой самой длинной, окольной дорогой. Он чувствовал, что и в собственном доме не будет ему покоя. Сердце птицей рвалось из груди. Даже на знакомых улицах вдруг стало ему тесно: дома угнетающе обступали со всех сторон, от редких встречных он шарахался как от чумы и шагал так быстро, будто за ним кто-то гонится. Вот улица Широкая. Пусто, несколько керосиновых фонарей бросают мутные отблески на мостовую. Капитан Михалис пересек базар. Турецкая закусовая, кофейня да две-три таверны были еще открыты. Его окликнули, ему показалось, что это голос капитана Поликсингиса, и он, не оборачиваясь, прибавил шагу. Впереди замаячил сераль паши, мраморный венецианский фонтан со львами, огромный платан распростер над ним могучие ветви. Никого вокруг. Капитан Михалис подошел поближе, перекрестился.

– Да освятит Господь ваши души! До встречи, земляки!

На протяжении веков на этом проклятом платане по приказу паши вешали мятежных христиан. И зимой и летом качались на самых толстых ветках веревки с уже готовыми петлями.

– Клянусь христианской верой, как-нибудь ночью встану, возьму топор и срублю тебя, исчадь ада! – Михалис с такой ненавистью посмотрел на старое дерево, словно перед ним стоял поганый турок.

Затем он снова окунулся в темноту. Длинным узким переулком вышел к Трем аркам. Расстегнул ворот рубахи, глотнул воздуха и с холма окинул взглядом окрестности. Где-то рядом шумит море. Слева и справа от него вырисовываются во мраке очертания гор – Юхтаса, Селены, Псилоритиса. А высоко в небе мерцают звезды. Капитан Михалис принялся стремительно расхаживать взад-вперед, фыркая, точно конь. Наконец остановился у края крепостного рва. Прямо напротив, на мысу, виднелось несколько приземистых хижин. Это Мескинья, селение прокаженных. Немного ниже выдавался в море еще один мыс – Семь Топоров. Оттуда более двухсот лет назад ринулись турки на штурм Мегалокастро. До сих пор там торчат семь вонзенных в землю каменных топоров. Чуть подальше привольно раскинулся в море пустынный остров Диа, похожий на огромную черепаху.

За спиной слышались женские голоса, тихо зашелестел шелк: в сопровождении старого турка, который, понурив голову, нес большой зажженный фонарь, шли две турчанки в черных паранджах и с раскрытыми зонтиками. Они о чем-то оживленно разговаривали и тихонько смеивались. В ночном воздухе разнесся запах мускуса.

Капитан Михалис вздрогнул.

Все бесы меня преследуют сегодня! – гневно подумал он и отвернулся к морю, чтобы не видеть турчанок. Ну, нет, дьявол-искуситель, тебе со мною не совладать!

Он вдруг заторопился домой, хотя домашних ему сейчас не хотелось видеть. Они, конечно, еще издали узнают его шаги. А он будет так кашлять, что жена, дочь и собака все поймут и попрячутся. Ему необходимо побыть одному! Одному!!! Сегодня он должен подумать, как жить дальше.

Жена капитана Михалиса Катерина и дочь Риньо сидели у стола с зажженной лампой и ждали. На длинном, во всю стену, диване в углу около выходившего во двор окна было обычное место капитана Михалиса. Кроме него, там никто никогда не садился. Даже когда его не было дома, в том углу лежала какая-то тяжелая тень, и ни жена, ни дочь не решались туда подойти, боясь внезапно наткнуться на грозного главу семейства.

Жена вязала чулок, свет от лампы косо падал на ее каштановые, туго заплетенные косы, дуги бровей, упругие щеки, очерчивал горько сжатые губы и упрямый подбородок. В этой женщине удивительно сочетались нежность и сила. В молодые годы она была стройна, как свеча, к тому же отличалась храбростью, как и подобает дочери капитана. Ее отцу, капитану Трасивулосу Рувасу, не посчастливилось иметь сына, зато Катерина унаследовала его отвагу и поистине мужской характер. Но, выйдя замуж, попала в когти льва. Поначалу она упрямилась, сопротивлялась, но с годами была вынуждена покориться. Кто же мог противостоять капитану Михалису?

Катерина вязала и думала о своей жизни. Как быстро утекла она, словно вода!.. Время от времени женщина обводила глазами стены: там, под самым потолком, в широких черных рамах висели портреты героев 1821 года, перед одним из них горела небольшая серебряная лампада...

Кира Катерина то и дело покачивала головой, согласно своим мыслям. Всю жизнь – и в отцовском, и в мужнем доме – она провела среди оружия. Еще девушкой, во время восстания 1866 года, взяла она ружье, патронташ и пошла воевать против турка, топчущего родную землю. А раньше, в детстве, во время другого восстания, вместе с подругами рвала старые книги, которые приносили монахи из монастыря, и делала пыжи для повстанцев. Давно она привыкла к запаху пороха... Только вот муж... он, конечно, храбрый и сильный – настоящий мужчина. Она вышла за него по любви, да и теперь не разлюбила, но жить с ним тяжело, и не раз в глубине души Кира Катерина проклинала судьбу.

Она опустила вязанье и посмотрела на старую литографию, висевшую над диваном: филистимляне схватили Самсона и истязают его. У непокорного смельчака веревками, ремнями и цепями связаны руки и ноги. Вокруг разъяренная толпа. Они тащат и толкают его, бьют, колют копьями. А из решетчатого окошка высокой башни выглядывает Далила с обнаженной грудью и хохочет...

Кира Катерина вздохнула и снова склонилась над чулком.

Дочь Катерины – стройная, гибкая девушка лет пятнадцати, с густыми сросшимися бровями, как у отца, и волевым подбородком, как у матери, – тоже оторвала глаза от рукоделья, погладила длиннохвостого кота, свернувшегося клубочком у ее ног.

– Что ты вздыхаешь, мама? Какие мысли мучают тебя?

– Какие мысли? – переспросила мать. – О жизни своей думаю. И о тебе – какое будущее ждет тебя в этом доме! И о некрещеной крошке, я ее убаюкала, чтоб не гневилась этого зверя.

Одному Трасаки легко живется, ведь он – точная копия отца. – Она подняла голову, прислушалась. – Уснула... Угомонилась, кроха моя бедная!.. А Трасаки и впрямь вылитый отец! Видела, как он сердится? Как хмурит брови? Как дерется с друзьями? А на женщин смотрит волком, будто сожрать их готов!

Риньо промолчала. Она хоть и боялась отца, но любила, гордилась им. И во всем его оправдывала: будь она мужчиной, наверное, вела бы себя точно так же. Только таким ей хотелось видеть своего сына, а дочери – Бог с ними, пусть трепещут, едва отец переступит порог. С той поры как ей исполнилось двенадцать, и у нее стала наливаясь грудь, отец запретил показываться ему на глаза. Вот уж три года он ее не видел. Когда бывал дома, она пряталась либо на кухне, либо наверху в каморке. Риньо издали узнавала его шаги, бросалась наутек, а впереди, поджав хвост, бежал кот. Ну что ж, значит, так надо. Отец прав. Почему – Риньо не могла объяснить, но была твердо убеждена в этом.

То же самое чувствовала и мать, только не хотела признаться. Да, на его месте она поступала бы так же. И ее отец был таким, царство ему небесное! Катерине вспомнилось, как погиб старый капитан Рувас. Ей тогда лет двадцать было, она была еще не замужем. Однажды ночью дом их окружили низами. Отец убил нескольких, но их было много, они связали его, положили во дворе и стали совещаться, на чем отправить в Мегалокастро к паше. Катерина с матерью вышли во двор. Одежда на отце была изодрана, сам весь в крови.

– Прощайте, женщины! – крикнул он им. – Не горюйте! Сварите кутью на мои поминки! Не плачьте, я умираю за свободу! Дай тебе Бог хорошего мужа, Катерина! Родишь мальчика – дай ему мое имя Трасос!

Отца привезли в Мегалокастро и посадили под большим платаном напротив сераля паши. Пришел турок-цирюльник и бритвой снял с него кожу. Из нее эта мразь Мустафа-паша наделал себе кисетов.

Вот так, за вязанием, вспоминала Катерина пережитое и вздыхала. С капитаном Михалисом жили они в согласии, грех жаловаться. Он честный, всеми уважаемый человек. На чужих жен не пялится, в карты не играет, не сквалыга. Только вот напивается иногда – топит в вине свою тоску. Но это бы можно и стерпеть от настоящего мужчины. Вон другие еще не то выделывают, а с ним это редко бывает, раза два в году. Теперь, правда, жизнь стала невыносимой. Год назад Катерина родила дочь, а муж ее не признает, даже видеть не желает.

– Знать о ней не хочу! – кричит он, когда жена принимается его увещевать. – Откуда у нее такие голубые глаза, черт бы ее побрал?!

Ни в ее, ни в его роду ни у кого не было голубых глаз, только у этого ребенка. От какого дьявола они взялись? Словно нечистая сила ворвалась в дом и испортила девочке кровь.

Несчастливая мать молча глотала слезы. Что тут скажешь? Молилась на коленях перед большой иконой архангела Михаила с золотыми крыльями и огненным мечом и прижимала к груди спеленатого младенца. Молила архангела Катерина, взывала к нему о помощи: может, явится мужу во сне и внушит ему, смягчит хоть немного это каменное сердце...

С утра до вечера пропадал муж в лавке, даже обедать не приходил. Обед носил ему молодой приказчик Харитос. Пока Михалиса не было, мать давала ребенку волю и покричать, и поиграть. Но как только стемнеет, поила крошку сонным отваром, чтоб не просыпалась до самого утра...

Из соседней комнаты слышался крик сонного Трасаки: мальчишке, верно, что-то привиделось.

– Нет бедолаге покоя даже во сне, – улыбнулась женщина. – Все-то ему снится, что собирает он войско, гонит, рубит, крушит турок... А вырастет – и с его мечтами будет то же, что с мечтами отца и деда... Ох, беспредельны муки нашего Крита!

Дочь и мать надолго замолчали. Риньо глядела через окно в ночной мрак. От лютого северного ветра скрипели ставни. Риньо закрыла глаза, и по спине у нее забегали мурашки.

– Что-то припозднился он сегодня, – заметила она, нарушив молчание.

– Говорят, его позвал к себе Нури-бей... И чего ему надо, этому псу?

– Опять, небось, схватит его отец за красный кушак и забросит на крышу! – Девушка горделиво засмеялась.

– Ну да, – укоризненно покачала головой мать. – А тот потом отыграется на христианах... Верно говорю, беспредельны муки Крита!

– Пока жив отец, мне ничего не страшно!

– Вот так и я надеялась на своего отца, пока однажды ночью...

И умолкла. Кум – так звали кота – вдруг вскочил Риньо на колени и наострил уши, глядя на дверь. Женщины тоже прислушались. Риньо мигом собрала нитки, кружева, ножницы. Кота как ветром сдуло.

С улицы послышался сухой кашель.

– Идет... – выдохнула девушка.

Мать встала.

– Пойду подогрею ужин. Видно, хочет, чтобы никто ему на глаза не попадался. Потому и кашляет.

Хлопнула калитка. Капитан Михалис вошел во двор, загремел щекоткой. Переступив порог дома, увидел, что в комнате никого. Снял с головы платок, сбросил жилет – все мокрое, хоть выжимай. Сел на излюбленное место у окна, выходящего в небольшой сад. Вынул из-за пояса платок, отер пот со лба, шеи, груди и распахнул окно.

Было слышно, как женщины на кухне возятся у очага, подогревают ужин. Вдруг ему показалось, будто заплакал ребенок. Капитан Михалис уже готов был вскипеть, но нет – тихо. Он достал табакерку, сделал самокрутку, высек огонь и закурил. Но во рту была горечь, как будто отраву в себя втянул. Он выбросил сигарку за окно.

Вошла жена с подносом. Но не успела и на стол поставить, как капитан Михалис, не поднимая головы, буркнул:

– Не хочу есть. Убери!

Жена молча повернулась и вышла.

В доме воцарилась мертвая тишина. Капитан Михалис встал, опять надел жилет, дважды обернул платок вокруг головы. Дойдя до двери, вдруг остановился в задумчивости. Поблескивали на стенах портреты борцов 1821 года – в фустанеллах²², с патронташами и пистолетами. Жесткие усы у каждого топорщились, словно были сделаны из железной проволоки. Длинные волосы спадали на плечи.

На время капитан Михалис забыл обо всем на свете. Он переводил взгляд с одного портрета на другой, будто здоровался. Он плохо помнил биографию – где воевали, какие совершили подвиги, какого они рода и откуда: из Румелии²³, с Морея²⁴, с островов или же с Крита. Это его вовсе не занимало. Он усвоил одно: все они воевали против турок – и этого достаточно. А остальное – для учителей истории.

Перед одним из портретов, как перед иконой, горела лампада. Всем, кто ни спросит, капитан Михалис кратко отвечал:

– Это святой Караискос²⁵.

Караискос был командиром его деда Дели-Михалиса. Однажды ночью, когда греки держали оборону в Фалероне, неподалеку от Афин, а вокруг уже стояли палатки турок, его дед напился. Командир отдал приказ: никому не оставлять свой пост, пока утром не подойдут

²² Фустанелла – короткая сборчатая юбка, часть греческого национального костюма.

²³ Румелия – континентальная Греция.

²⁴ Средневековое название Пелопоннеса.

²⁵ Караискос (Караискакис), Георгиос (1780–1827) – видный полководец национально-освободительной революции 1821–1929 гг.

отряды других капитанов, ведь христиан было немного, а турок – тысячи. Пил дед не один, напились и другие критяне, решив, что им никто не указ. Выскочили из укрытий и, подняв пальбу, бросились к турецким палаткам. Эта вылазка была преждевременной. Тут Караискос и погиб.

– Такого человека угробили! – бормотал капитан Михалис. – Но ничего не поделаешь! Дед тоже погиб. Все мы рано или поздно погибнем!

Он вышел на улицу. Колодец, корыто для воды, виноградные лозы, свисавшие над колодезным срубом, горшки с цветами – все раздражало его сегодня. Направился к небольшой конюшне в конце двора. Белая кобыла, почуяв хозяина, повернула голову, повела ушами, радостно заржала. Капитан Михалис подошел к ней, широкой ладонью потрепал по холке. Какое гордое создание, а ведь вот послушно ему, в любой миг готово исполнить его волю и всегда, до смерти, будет с ним – как часть его самого.

Капитан Михалис надолго задержал руку в густой серой гриве, чувствуя, как все нутро его отогревается от этого тепла. Ему даже показалось, что на его мощном затылке отрастает грива, силы его удваиваются, вот сейчас он перемахнет через забор, затем через крепостную стену и вырвется в поле, плодородное, истоптанное турками поле, с гиканьем помчится к хутору Нури-бея. Эта сила шла из самой земли, переливалась из теплого тела кобылы в его пятки, захватывала все тело, распирала грудь.

Капитан Михалис бросился к дому.

– Харитос!

На пороге появилась жена.

– Он спит.

– Разбуди!

Михалис скрутил сигарку и закурил. Горечь во рту прошла. Он спокойно наблюдал, как густой табачный дым выходит из ноздрей, и ждал.

Протирая глаза, вышел заспанный Харитос. Густые волосы взлохмачены, шея голая, босой. Этому дикому козленку лет двенадцать. Капитану Михалису он приходится племянником – сын брата, пастуха Фануриоса. Отец прислал его из деревни учиться. Но при одном только упоминании об ученье лицо капитана Михалиса кривилось.

– Бумажным червем захотел стать? Учителем?! Не видишь разве, до чего дошел твой дядя Сиезасыр? Над ним даже сопляки смеются! Испортишь себе глаза, несчастный, напялишь очки и станешь для всех посмешищем. Оставайся у меня в лавке, а когда подрастешь, наберешься ума, дам тебе денег, откроешь собственную лавку, человеком будешь.

О своем решении капитан Михалис сообщил и Фануриосу.

– Делай как знаешь, – ответил брат. – Мясо твое – кости мои. Бей его почаще, чтоб человеком рос!

Капитан Михалис схватил Харитоса за шиворот и хорошенько встряхнул.

– Ступай к колодцу, – велел он, – умойся, а когда очухаешься, придешь ко мне, дело есть.

Харитос пошел к колодцу, достал воды, умылся, пальцами пригладил взлохмаченные волосы и подошел к дяде.

– Я очухался, – пробормотал он.

Капитан Михалис положил ему на плечо руку.

– Сходи постучись в пять домов – сам знаешь в какие. Да захвати камень, стучи, пока не откроют. Понял?

– Понял.

– Значит, к Вендузосу, к Фуругатосу, Каямбису, Бертодулосу и в монастырь, где живет Эфендина.

– Эфендина Кавалина?

– Да-да, Эфендина Кавалина. Передай им всем привет от капитана Михалиса. Завтра суббота, а в воскресенье рано утром пусть приходят ко мне. Понял?

– Понял.

– Иди! – Затем кликнул жену. – Зарежь три курицы, приготовь закуску, испеки хлеб. Убери в подвале. Поставь стол, скамейки, посуду.

Жена открыла было рот, чтобы напомнить: сейчас пост, мол, побойся Бога, но он поднял руку, и Катерина со вздохом прошла в дом.

– Горе мое, горе, опять пирушка! – пожаловалась она Риньо, которая перемывала тарелки в раковине. – Велел зарезать три курицы и убрать в подвале.

Послышался скрип лестницы: это капитан Михалис отправился спать.

– Что это с ним? Ведь еще шести месяцев не прошло, – удивилась Риньо.

Но сердце ее трепетало от радости. Ей нравилось, когда весь дом ходуном ходит, все хлопочут, снуют туда-сюда с закусками, а мужчины сидят в подвале и выпивают.

– Приспичило ему! – ворчала мать. – Снова бес оседлал! – И перекрестилась. – Грешна, Господи, ругаюсь, нет сил терпеть! Уж и Великого поста не признает!

Грустно посмотрела она на иконостас, на архангела Михаила. Сколько я тебе поклонов била, сколько просила! Разве не наливаю я каждый день оливкового масла тебе в лампаду, разве свечи не ставлю! Все напрасно... Ты, видать, с ним заодно!

– Эх, если б я была женщиной! – прошептала она. – Всем бы показала! Да то же самое бы вытворяла! Было б у меня пять-шесть шутов, и когда бы сердцу делалось тесно в груди – звала бы их в подвал, поила, заставляла играть на лире, плясать, пока с души камень не свалится. Как все-таки хорошо быть женщиной!

Глава II

Весенняя ночь выдалась нелегкой для жителей Мегалокастро. Около полуночи холодный, пронизывающий ветер сменился теплым, влажным, от которого набухают почки на деревьях. Начал он свой путь в Африке, пересек Ливийское море, промчался над Месарийской равниной от Тимбаки и Калус-Лимьонеса до Айя-Варвары, оставил позади знаменитые Арханьотские виноградники и оседлал стены Мегалокастро. Пробираясь сквозь щели в дверях и окнах, он набрасывался на мужчин и женщин, пробуждал желания, не давал уснуть. За одну ночь весна вероломно овладела Критом.

Даже паша, хоть был он уже стар и немощен, проснулся от сладостной истомы, хлопнул в ладоши, и в комнате тотчас появился арап Сулейман.

– Открой окно, Сулейман, что-то душно... И что за напасть этот ветер!

– Да нет, паша-эфенди, не напасть. Ветер из африканского края, потому такой горячий. На Крите называют его ангур-мельтеми²⁶: огурцы от него хорошо растут.

– Ангур-мельтеми... И то верно. Вот что, позови-ка Фатуме, пусть зайдет, она мне нужна. Да налей воды в кувшин и принеси сюда. И опახало захвати... Ох, беда, этот Крит вгонит меня в могилу!

В эту ночь в теле богобоязненного митрополита Мегалокастро – ему уж восемьдесят стукнуло, и седая борода белой рекой струилась до пояса – тоже заиграла кровь. Он сбросил одеяло, кряхтя встал с постели и подошел к окну подышать свежим воздухом. Вокруг тишина, в темноте вырисовывались очертания погруженных в сон домов. Старое лимонное дерево во дворе кафедрального собора пьянило воздух густым запахом цветов. А в глубине тверди небесной, пред Божиим престолом, зажглись несчетные лампадки звезд... Со страхом всматривался митрополит в ночное небо. Нежный ветер вдруг словно поднял его тяжелое, тучное тело на воздух, и оно зависло в глубокой тишине, ниспосланной Богом. Прошло несколько мгновений, прежде чем старик снова почувствовал под ногами твердую почву. Он с облегчением вздохнул, перекрестился и вернулся в постель, чтобы погрузиться в безгрешный сон.

Капитан Михалис резко сбросил простыню и, недовольный, сел на кровати. Было уже за полночь. Схватил со стола кувшин и несколько раз жадно глотнул холодной воды, пытаясь отогнать бесстыжий сон, обволакивающий, льнувший к нему, словно женщина.

– Приснится же такая нечисть! – проворчал капитан Михалис, и меж бровей залегла гневная морщина. – Чего доброго, бесов накличешь!

Он вскочил, босиком спустился по лестнице во двор, зачерпнул воды из колодца и сунул в ведро голову. Но во рту все равно остался сладковатый привкус греха. Михалис вернулся в дом, сел на кровать, распахнул окошко. Со всех сторон его обступала густая, как смоль, тьма. Прислушался: город спал глубоким сном, и не слышно было его дыхания. Только непривычно горячий ветер, пропитанный запахами земли и моря, гулял по двору, шурша виноградными листьями.

Капитан Михалис прислонился к стене и закурил. Он не хотел больше поддаваться сну-искусителю. Пускал дым, устремив взгляд на архангела Михаила в киоте, покровителя его рода, этого небесного Дели-Михалиса с колчаном за спиной. По правую руку от иконы поблескивали повешенные крест-накрест дедовские серебряные пистолеты, по левую – свадебные венцы из восковых лимонных цветов. Из соседней комнаты донесся вздох супруги, на чердаке пискнула мышь, и в то же мгновение по ступенькам едва слышно шмыгнул кот. И опять глубокая, ничем не нарушаемая тишина.

²⁶ Ангури (*греч.*) – огурец. Мельтеми – пассатный ветер (*тур.*).

Капитан Михалис курил и ждал рассвета, впившись глазами в окно, тяжело дыша, и в густых бровях прятался гнев, смешанный со стыдом.

Светать начнет, видно, еще не скоро – темень хоть глаз выколи, да и ветер этот, дерзкий, неугомонный, никак не утихает. Не обошел он и дом Блаженных, покружил над широкой кроватью с кружевным балдахинном, где, скрестив руки, спокойно спали в белоснежных ночных рубашках три сестры. Аглая то и дело выпрастывала из-под одеяла голые костлявые руки и хихикала, как будто ее щекотали. Затем, словно бы устыдившись, затихала. В спальне, просторной и чистой, с тремя большими разукрашенными комодами, где хранилось приданое сестер, пахло подгнившей айвой.

Учитель Сиезасыр, брат капитана Михалиса, в этот поздний час сидел за столиком, накинув на плечи пальто, чтоб не простудиться от ледяного северного ветра, который задувал с вечера. Склонившись над толстой книжкой, он перечитывал историю Великого восстания 1821 года и как бы заново переживал все события. Вражда между братьями, коварство, продажность – и те же самые люди, не задумываясь, шли на смерть во имя родины, проявляли чудеса храбрости и стойкости, достойные святых! Учитель беспрестанно снимал и протирал очки, ему казалось, что из-за них расплываются буквы. На самом же деле глаза его были полны слез. Летели часы, сменился ветер, наступил апрель, митрополит и паша беспокойно ворочались в постелях, а Сиезасыр все сидел над книгой, дрожа от холода и протирая очки.

За исключением бодрствующего учителя и сладко спящих Блаженных, остальные обитатели Мегалокастро спали в эту ветреную ночь тревожно. Одинокие женщины задыхались, сбрасывали простыни, не понимая, что с ними творится. Замужние протягивали руки, прижимались к мужьям. Молодая Гаруфалья²⁷ в своем свежевыбеленном домике у пристани совсем распалилась. И ничего удивительного, ведь она только на прошлой неделе обвенчалась с красавцем Каямбисом. Теперь молодожены, как выразился Вендузос, плавали в бочке с медом. Шафером у них на свадьбе был Трасаки. В первые дни Гаруфалья ни на миг не расставалась с мужем и ходила точно пьяная от неожиданно свалившегося на нее счастья.

Гаруфалья чуть не поседела в девках, чахнуть стала, и впрямь как неполитая гвоздика. И вдруг – муж, да еще какой! Его, верно, сам Господь Бог ей послал. Каямбис каждую субботу весь народ зачаровывал своим пением. Родом он был не здешний, из Сфакье, но Каямбис ушел оттуда три года назад, и обратной дороги в горы ему не было. Отец оставил двоим сыновьям отару овец, но из-за одного здорового барана – вожака – вышел у братьев спор. Решили они побороться: кто положит противника на обе лопатки, тот и получит барана. Однако в пылу схватки они слишком уж разгорячились, позабыли о том, что они братья, взялись за ножи, и Каямбис убил брата. Недолго думая, он бросил отару и барана-вожака да пошел куда глаза глядят. Так и оказался он в Мегалокастро. В сфакьянской бурке, в стоптанных башмаках, с веточкой базилика за ухом слонялся он по тавернам и пел. К счастью, увидел его однажды в таверне Вендузоса капитан Михалис, послушал, как тот поет, и парень ему понравился. Он подозвал Каямбиса и говорит:

– Не стыдно тебе, такому здоровому, таскаться по тавернам и петь, будто шлюха какая-нибудь? Приходи лучше ко мне, я дам тебе денег – человеком станешь!

И сдержал слово. Каямбис на те деньги купил себе ослика, две корзины товару разного и отправился по деревням торговать – нитки, гребешки, свечки, душистое мыло, зеркальца... Одно только условие поставил капитан Михалис: раз в полгода являться к нему в дом на пирушку и гулять до тех пор, пока сам хозяин не выгонит.

Как-то в большой деревне Крусонас увидел Каямбис у источника Гаруфалью и полюбил ее с первого взгляда. Прежде, однако, все разузнал – из какой она семьи, крепкое ли хозяйство – и только потом заслал к ней сватов. И вот в минувшее воскресенье их повенчали: Трасаки,

²⁷ Гарифало – по-гречески «гвоздика». В имени героини отражено диалектное произношение.

встав на скамейку, надел на них венцы. Сам Михалис ни у кого не был ни шафером, ни крестным отцом. Сколько его ни звали – отказывался, «пока Крит не будет свободен».

А теперь Каямбис, запершись в бедном своем домишке, вот уже восемь суток плавает в бочке с медом. Встает, только чтобы осла покормить да самому поесть. Гаруфалья наскоро варит еду, подкрепятся молодые – и снова в постель... С иконы на стене смотрит на них довольный Христос, улыбается и благословляет. Пусть никогда не пустуют люльки у критян, пусть винтовки передаются от отца к сыну – лишь благодаря этой бочке с медом в один прекрасный день станет свободным Крит...

Горячий весенний ветер гуляет и за крепостными стенами, там, где находится селение прокаженных – Мескинья. В лачуге, прямо на земляном полу, страстно сжимают друг друга в объятьях мужчина и женщина, тоже молодожены. Руки у него покрыты язвами, по ним струится желтый вонючий гной. У женщины нет носа – отвалился как раз накануне свадьбы, поэтому лицо невесты прикрыто белым полотенцем. Жених сжимает локтями свою сладострастно стонущую избранницу и думает о сыне и о том, что проказа на свете не переведется никогда.

В то время как обнимаются прокаженные в Мескинье, на другом конце Мегалокастро, у Новых ворот, появляется Барбаяннис. Он возвращается домой весь в поту, держа высоко над головой масляный фонарь. Спотыкаясь в узких переулках, Барбаяннис проклинает судьбу, что не дает ему насладиться даже сном: больше после смерти жены ему ничего не осталось. Целыми днями бродит он по городу и предлагает жителям зимой горячий салеп²⁸ для согрева, а летом – шербет для освежения. А еще часто зовут его вместо повивальной бабки, так что не больно-то поспишь. Принимать роды он научился у покойного отца, который принимал приплод у кобыл и ослиц со всей округи. А уж Барбаяннис перенес отцовское искусство на женщин. Вот и в эту ночь он принимал ребенка у Пелагеи, своей племянницы. И хоть промучился с нею три часа, но не напрасно: мальчик родился здоровый, черноволосый.

Разговаривая сам с собой и проклиная судьбу, возвращался Барбаяннис домой. Вдруг он услышал сзади цокот копыт. Правда, конь был какой-то необычный, не из тех, что едят ячмень, ржут и разбрасывают по дороге навоз. Копыта его так легко касались земли, словно были обернуты ватой, вокруг себя он распространял божественный запах ладана. Барбаяннис сразу все понял – не впервой, – перекрестился и, прижавшись к стене, стал поджидать всадника.

– Господи помилуй! – прошептал Барбаяннис. – Добрый вечер тебе, святой Мина!

Подняв глаза, он явственно увидел в ореоле яркого света среди тьмы резвого скакуна с золотой уздечкой, а на нем седобородого всадника. Был он в серебряных доспехах и в руке держал обагренное кровью копьё. Святой Мина, отважный защитник Мегалокастро, как всегда, в дозоре. Ровно в полночь, когда город крепко спит, святой спускается с иконы, едет по набережной и по греческим кварталам. Прикроет растворившуюся дверь. Если кто из христиан болен и в окне у него горит огонь – непременно остановится и попросит Господа исцелить страждущего. Обычному глазу не дано увидеть святого. Только собаки при его появлении виляют хвостами, а из людей могут лицезреть его лишь двое: Барбаяннис и Эфендина Кавалина, придурковатый ходжа²⁹. Только на рассвете возвращается святой на икону, и пономарь Мурдзуфлос, приходя утром убирать в церкви, всякий раз обнаруживает, что конь святого Мины весь в мыле.

Барбаяннис глядел, как исчезает святой в ночном мраке, и крестился.

– Вот и опять сподобился его увидеть, теперь дела пойдут на лад, – бормотал он.

Достав из-за пазухи лепешку на виноградном сусле, которую дала ему за труды Пелагея, Барбаяннис принялся с наслаждением жевать. Вот уже и дом близко, можно погасить фонарь.

²⁸ Напиток на основе «муки из орхидей» – клубней ятрышника.

²⁹ Мусульманин, совершивший паломничество в Мекку.

Капитан Михалис курил, мысли в голове путались и жужжали, как майские жуки. Он силится припомнить все, что видел, что пережил, что полюбил и возненавидел в этой жизни, – деревню, отца, родной дом, разных людей, турок и греков, весь Крит от Грамбусы до монастыря Топлу. Ведь он исходил остров вдоль и поперек, побывал на всех его вершинах, в скольких восстаниях участвовал! И ни на чем теперь не мог сосредоточиться, так запали в голову эти бесстыжие красные губы.

Капитан Михалис кинул свирепый взгляд на архангела Михаила, точно в обиду на него за то, что тот не спустится с иконы и не наведет порядок в его жизни. Повернувшись, он увидел сквозь окно все то же темное небо.

– Пошли скорее день! – процедил он сквозь зубы. – Пошли день, хочу поглядеть, что со мной будет!

Снова вышел во двор, еще раз окунул голову в ведро с холодной водой и немного успокоился, присел на пороге.

Отчаянная борьба шла не только в душе капитана Михалиса. Всю ночь мерял шагами комнату и Нури-бей. Выходил в сад освежиться, опять возвращался в дом, непрерывно курил, пил рюмку за рюмкой и бесился. То и дело глаза его устремлялись к лестнице наверх: черкешенка заперлась и к себе не пускает.

– Убирайся вон! – кричала она, стоило ему приблизиться к женской половине. – Ты опозорил себя! Ты мне не пара!

Эмине тоже не могла уснуть, стояла полураздетая у окна, заламывала белые руки и пыталась разглядеть в темноте греческие кварталы. Ей все еще виделись черные брови, борода, ручки капитана Михалиса...

– Права, ой права! – стонал Нури-бей, и слезы катились у него из глаз. – Позор! Скоро стану таким, как этот придурок Эфендина. А этот гяур будет всякий раз звать меня на свои пирушки вместо шута.

Утром в комнату вошел арап – его повелитель, пьяный в стельку, спал, скрючившись, у порога. Борода, грудь, штаны были все в блевотине, вокруг валялись пустые бутылки и окурки...

А придурок Эфендина этой ночью спал, лежа на спине, и блаженно улыбался. Он получил приглашение на пирушку – значит, дней на восемь прочь заботы! Натрескается свиных отбивных и колбасы, накачается вином... Восемь дней и ночей без проклятой нищеты и без этих святынь, будь они тоже прокляты! Когда Нури-бей вспомнил о нем, ему как раз снился сладкий сон. Будто дверь открылась, и в комнату вошел кабан, гладкий, откормленный, с турецкой феской на голове. А на шее у него, словно амулет, висел нож. И только этот кабан увидел Эфендину, так точно прирос к земле, поклонился, снял с шеи нож, вонзил себе в горло и рухнул на землю. Эфендина подошел и видит, что кабан-то, оказывается, зажарен, обложен лимонными листьями и страсть как вкусно пахнет! Эфендина от радости даже пробудился, рот был полон слюны.

В то время как внизу, на Земле, несчастные люди загорались желаниями и остывали, терзали и любили друг друга, небесный свод вращался по извечно заведенным законам, звезды передвигались с места на место, и вот из-за Ласифьотских вершин внезапно показалась и будто зазвенела в воздухе утренняя заря. Во дворе капитана Михалиса открыл круглые глаза огромный, со шпорами на ногах петух. Почуввав, что творится на небе, взмахнул крыльями, надул зоб и закукарекал. На другом конце улицы, перед домом зажиточного Красойоргиса, осел, с шумом вдохнув запах травы и критской ослицы, тоже задрал хвост и закричал.

Мегалокастро просыпалась. Из конца в конец, от источника Индоменеаса до пекарни Тулупанаса, отходил от сна квартал. Ревнивая кира Мастрарападена отвязала своего мужа, свя-

того человека, литейщика колоколов, от кровати, к которой привязывала его каждый вечер, чтобы он не спустился тайком на кухню – уж она-то знает этих мужчин! – да не пощупал там толстую служанку Анезину, у которой груди что у коровы вымя. Если, конечно, ему понадобится выйти ночью по нужде, она его отвяжет, но веревка все равно останется у него на ноге, и кира Мастрарадена крепко держала ее за конец, чтоб муж ненароком не сбился с пути.

Капитан Поликсингис вернулся после любовных походов совсем разбитый и надутый мускусом. Кир Димитрос тоже поднялся с трудом, зевая: всю ночь его сорокапятилетняя жена Пенелопа не давала ему спать, ворочалась, сбрасывала простыни, что-то бормотала. Во сне ее бросало то в жар, то в холод. А под утро она вскочила, бросила косой взгляд на зевающего кира Димитроса, подошла к окну и оперлась грудью на подоконник, чтобы остудить пылающее жаром тело.

В небе развиднелось, под крышей попискивали птицы, из дома Красойоргиса, что напротив, им откликнулся черный дрозд в клетке.

– Катинице хорошо, – ворчала кира Пенелопа. – У Красойоргиса на все сил хватает – и на работу, и на мужские обязанности, не то, что у тебя!

Через улицу доносился до нее могучий храп... Это, лежа на спине в расстегнутой рубашке, храпел после крепкой попойки толстяк Красойоргис. Из рта у него несло перегаром и луком. Молодая, пышнотелая Катиница, дочь Барбаянниса, сквозь сон улыбалась. Ей снилось, будто она, еще незамужняя, гуляет по саду об руку с женихом, а он обнимает ее за талию. И жених не толстый Красойоргис, а стройный, красивый юноша с молодцевато закрученными усами и длинной черной шевелюрой, из-за пояса торчит серебряный пистолет, и пахнет от него так сладко, вроде бы корицей. Красавец напоминал мужчину с портрета, которым она любовалась в доме у капитанши Катерины. Под ним стояла подпись: «Герой 1821 года Афанасиос Дьякос». И вот этот молодец держал ее за талию, когда сон обвинял Катиницу, как виноградная лоза с множеством иссиня-черных гроздьев...

И надо же было, чтобы на самом интересном месте ее сна заворочался рядом и с трудом продрал глаза Красойоргис.

– Ты чего это облизываешься? – спросил он. – Можно подумать, что ешь мед с орехами! Дай и мне отведать! – И потянулся к ней своими лапами.

Но жена, рассердившись, показала спину.

– Зачем разбудил?! Отстань, я спать хочу! – И закрыла глаза, надеясь опять свидеться с тем блестящим красавцем.

Из дымохода в пекарне Тулупанаса валил густой голубоватый дым. Старый пекарь проснулся, как всегда, в подавленном настроении, принялся молча хлопотать у печи – может, хоть в работе горе забудется! Да нет, как его забудешь? Был у Тулупанаса сын двадцати лет, русоволосый, стройный – глаз не отвести! Отец души в нем не чаял, ни в чем ему не отказывал, кормил и одевал как принца. Но года три назад лицо у парня вдруг опухло, покрылось чирьями, загноились кончики пальцев, слезли ногти. А теперь уж и губы стали гнить. Ясное дело, надо бы отвезти его в Мескинию, но у отца и матери сердце кровью обливается – как расстаться с единственным дитятей? Вот и держат его под замком, чтоб, не дай Бог, кто не увидел. Оттого старый Тулупанас и сон, и аппетит потерял, в глаза людям глядеть не хотелось. Оттого и в трудах пытался забыться: ни минуты на месте не посидит – то тесто месит, печет хлеб, бублики, пирожки со шпинатом, то ходит по улицам, продавая свой товар. Каждое утро заглядывает он к своему сыночку – на чудо надеется – и всякий раз замечает, что гниение телесное распространяется все больше и больше, а гной уже стекает на простыни, на пол.

Хлопочет Тулупанас у печи и тяжело вздыхает. Случайно взгляд его упал на улицу – там, в окне напротив, еще горит огонь, пекарь грустно покачал головой.

– Бедняжка, вот и тебе несладко! Видно, человеку на роду написано жить в муках...

В том окне всю ночь не сомкнула глаз несчастная больная француженка: ее терзал ужасный кашель. Врач Касапакис женился на ней в Париже и завез в эту турецкую глухомань, на край света. Поначалу она только вздыхала, потом начала кашлять, а теперь уж и харкает кровью. Муж ею давно тяготится: он спутался со служанкой, этаким деревенской кобылой.

– А где же та железная дорога, которая проходит под нашими окнами? – допытывалась у него француженка в первые дни. – Ведь ты мне говорил там, в Париже...

Врач смеялся в ответ:

– Здесь, в Мегалокастро, паровозами называют ослов!..

Капитан Михалис неподвижно стоял посреди двора и торопил рассвет. Наконец послышался долгожданный крик петуха: светало. Михалис встрепенулся, поднялся к себе, быстро оделся, туго замотал на поясе широкий кушак, сунул за него нож с черной рукояткой, достал банку оливкового масла, висевшую у киота, налил немного в затухающую лампаду и в который раз посмотрел на своего покровителя, архангела Михаила.

– Ну все, я пошел, – кивнул он архангелу на прощанье. – А ты тут без меня хорошенько стереги мой дом.

Он оседлал кобылу и поехал по улицам. По пути ему встретились низами с ключами от крепостных ворот. Почти все двери были еще заперты, но из труб то здесь, то там уже поднимался дым. На весь квартал слышался голос Барбаянниса, расхваливающего свой салеп – горячий, густой, с имбирем. Пришпорив кобылу, капитан Михалис быстро миновал Большой платан – виселицу для «неверных», объехал площадь, на миг остановился возле Трех арок. Горы стали розоветь.

Впереди – отвесная скала, именуемая Зловещей, за нею – Псилоритис, спокойный, с белоснежной вершиной, точно убеленный сединами старец. Справа – Юхтас, похожий на опрокинутую голову окаменевшего дракона. Вдали виднеется море, перекачивает зелено-голубые, с белыми гребешками волны. У самого горизонта маячат красные паруса – лодки мальтийских рыбаков. Вот из воды вынырнуло солнце, будто огненная вспышка. Ослепительный луч ударил в глаза кобыле, та отвернула морду, тряхнула гривой и заржала, словно приветствуя восход.

Подала сигнал труба, на мачте взметнулся турецкий флаг, со скрипом открылись крепостные ворота. Крестьяне из близлежащих деревень, с раннего утра ожидавшие за стенами, толпой устремились внутрь, давя и толкая друг друга. На ослах и мулах они везли дрова, уголь, бурдюки с вином и оливковым маслом, корзины, полные овощей и фруктов, бронзовые кувшины с медом. Чтобы попасть в город, надо пройти сквозь темный туннель в широкой венецианской стене. Под каменным сводом в кромешной тьме смешивались крики, ругань, рев и топот животных – все это диким пугающим гулом вырывалось из мрачного каменного зева.

Капитан Михалис пробился сквозь бурлящий людской поток, выехал за ворота, спустился к морю, оставив Мегалокастро позади, и двинулся по берегу в направлении Зловещей. Справа благоухала зелень полей, слева плескалось море. Солнце поднялось высоко, заиграло золотым медальоном на груди лошади.

– Во имя Христа и архангела Михаила! – воскликнул капитан Михалис и, оборотившись на восток, перекрестился.

Солнце залило Мегалокастро. Сначала его лучи упали на минареты, затем на голубой купол святого Мины, на крыши домов. А спустя некоторое время заглянули и в узкие сырые улочки. Девушки распахивали окна, старухи выходили во двор погреться. Они крестились, славя Бога за то, что миновал, наконец, сожрав последние поленья, март, такой безжалостный к старухам. И еще за то, что их старые кости погрееются теперь на солнышке. Да будут благословенны апрель и святой Георгий!

Из ворот на приволье повыбежали, задрав хвосты, резвые, веселые критские ослики. Казалось, своим ревом они хотят сообщить всему миру о приходе весны.

Кира Пенелопа вышла во двор, зевнула во весь рот, даже челюсти хрустнули. У этой женщины был двойной подбородок, широкий зад и волчий аппетит. Весь день она обхаживала, обстирывала, кормила и чистила, словно коня, своего мужа, кира Димитроса, а по ночам не давала ему спать. Детей у них не было, поэтому Пенелопа свою материнскую нежность перенесла на кошек, канареек и прочую живность. Нынче утром она вдруг почувствовала странное томление во всем теле, ей, как и осликам, захотелось на волю – побегать, порезвиться. Позвать всех товарок – и киру Катерину, и Катиницу, жену Красойорггиса, и киру Мастрарападену, и французенку – да пойти в поля, под теплое весеннее солнышко! Грех в такой день сидеть в четырех стенах. Она на скорую руку приготовила обед и послала служанку к капитанше.

– Хозяйка моя, кира Пенелопа, передает вам привет и приглашает прогуляться вместе по полям – вон благодать какая!

Но до того ли сейчас кире Катерине! Ей надо готовиться к завтрашней пирушке. С самого утра она занялась курами – одну варила, другую фаршировала кедровыми орешками, третью запекала в тесте.

– Передай хозяйке, что не могу я сегодня, пусть не обижается. Коли будет охота, пускай приходит вечером с шитьем: соберутся соседки, Али-ага придет, поболтаем. Да скажи, чтоб не боялась: капитана дома не будет.

Кира Пенелопа надулась, послала служанку по другим домам: к Мастрарападене, Катинице, к сестре капитана Поликсинггиса. Но одна пригласила священника Манолгиса святить дом, у другой болела голова, третья тесто месила на просфоры к вечерне, к тому же у нее ноги распухли – не ходят.

– А, чтоб вас всех, рыба кровь! – выругалась кира Пенелопа. – Для чего глаза им дадены, ежели они на свет Божий и глядеть не хотят? Вот что, Марульо, ступай-ка к лекарше Маселе, эта непременно придет. Она хоть и французенка, но понимает, что такое весна.

Французенку звали не Масела, а Марсель, но кира Пенелопа перекрестила ее в Маселу – так легче выговорить. Поэтому и мы будем называть ее так, раз уж она вышла за критянина. Пенелопа очень забавлялась, когда та рассказывала ей на ломаном греческом о каком-то огромном, даже больше Мегалокастро, городе, который называется Париж. Через весь город протекает широкая река, а женщины ходят в кофейни наравне с мужчинами, и ноги у них открыты выше щиколоток. Все это походило на сказку, но несчастная французенка так увлеченно рассказывала, что, видно, сама верила своим выдумкам, у нее даже слезы наворачивались. Ну и пусть себе выдумывает, жизнь-то у нее не сахар с таким распутником – тьфу, прости, Господи! Нет, надо обязательно вытащить бедняжку из дому, сходили бы в поле, к родникам, к церкви Святой Ирины – хоть немного развеется...

Но Марульо и на этот раз вернулась ни с чем.

– Не пойдет – говорит, больна. Все ночи напролет не спит – кашляет. Просила, чтоб вы не сердились.

Кира Пенелопа снова разразилась проклятьями. Потом перебрала в уме всех соседок. Может, Коливакену позвать? Ну, нет! У нее муж – могильщик, да и сама она с придурью: как начнет говорить про привидения да покойников, которые во сне являются. И правильно делают! Это наказание за то, что муж ее раздевает мертвецов и одежду берет себе, жене да детишкам, а покойнички лежат голые в сырой земле и зубами клацают. Нет, Боже упаси иметь дело с Коливакеной! Разве что послать Марульо к этой белоручке Архондуле?.. Куда там, их милость нипочем не пойдет гулять с женой торговца! Ее отец, видите ли, служил драгоманом в Константинополе и, говорят, играл в карты с самим патриархом, а теперь, после смерти отца, она каждый год получает от патриархата пенсию – мешок золотых, – еще бы не кататься как сыр в масле! А, Бог с ней совсем! Пускай гуляет с митрополитом да пашой! Смолоду нос задирала, так вековухой и осталась. Кому такая нужна? И поделом ей да ее глухонемому братцу! Говорят, однажды в Константинополе повесили христианина за то, что убил он турка, а ихний папаша-

драгоман знал, что не христианин его убил, а какой-то бей, но промолчал, трус, за то и родились у него сын немой и дочка никуда не годная. Да пусть бы эта Архондула умолять ее стала с ней прогуляться – она сама не пойдет!

Кира Пенелопа переключилась на других соседок. У Вангельо забот полон рот: на Пасху ее свадьба с учителем. Тоже счастье привалило! На кой ей сдался этот Сиезасыр? Дохляк, коротышка, к тому же в очках... А с другой стороны, куда ей деваться? От этакой нищеты за козла пойдешь. Братец-то ее все родительские денежки промотал, дома шаром покати, а он в золотых часах щеголяет!

Так, перемыв всем косточки, кира Пенелопа приняла, наконец, решение. Нарвала она виноградных листьев, завернула в них еду, сложила в корзину хлеб, маслины, несколько апельсинов, фляжку вина, кофе, сахар, вилки, ножи, полотенце, керосинку и вышла во двор.

– Пошли, Марульо, без них обойдемся, – сказала она служанке.

Они заперли ворота и вдвоем направились к гавани. Кира Пенелопа немного стеснялась своего могучего зада: раскачивается во все стороны, словно у черных курдючных овец, недавно завезенных на Крит. А что поделаешь, ведь все от Бога, успокаивала она себя, хорошо хоть ноги не опухают, как у кыры Хрисанфи Поликсингопулы. Нет, я еще женщина хоть куда! Такую пойдешь пощи, пожалуй, на десятерых мужиков хватит. Недаром меня здесь прозвали винной бочкой!

Кира Пенелопа, переваливаясь как утка, ковыляла по широкой улице. Народу пруд пруди: купцы, ремесленники, крестьяне – и все кричат, ругаются... А уж какие у здешних жителей тупые, ослиные морды! Она презрительно поджала губы. Сама-то она не местная, из Ретимно, и очень гордится этим. Как народ из Ханьи славится своими оружейниками, а ретимнийцы – культурой, так обитатели Мегалокастро – знаменитые на весь свет болваны и пьяницы. Каждый вечер как засядут по тавернам – и напиваются, закусывая сушеной скумбрией и шашлыком. Ох и несет же от них под утро! Иное дело – ретимнийцы с их неторопливой поступью, благородными манерами, обходительностью! Муж у нее хотя и здешний, но изо всех выделяется: солидный человек, непьющий, одно плохо – по мужскому делу слабоват. Чего она только не придумывает каждую ночь, чтоб расшевелить его, – все напрасно... Нет, и он ретимнийцам в подметки не годится!

Кира Пенелопа вздохнула, ускорила шаг. Вот и гавань. Ну, ясное дело, опять он сидит и мух гоняет. Только на это и способен!

Но кир Димитрос с утра устал уже махать мухобойкой и теперь листал большую амбарную книгу, куда записывал все съеденные за день блюда. Красными чернилами – мясные, фиолетовыми – все остальные. Так он был увлечен своим занятием, будто сам смаковал все эти яства, даже слюнки текли... Он уже дошел до последних страниц, читал по слогам, медленно, со вкусом, будто пережевывал. «Года тысяча восемьсот восемьдесят девятого, марта месяца, двадцатого дня: зеленые бобы с артишоками и зеленым луком в оливковом масле». Вкуснотища! «Дня двадцать первого: кабачки тушеные с чесноком». Недоглядел проклятый повар – подгорели.

В таверну вошла девушка.

– Кир Димитрос, меня моя хозяйка послала, кира Христофакена. Отпустите пять драми³⁰ хиосской мастики на варенье.

Киру Димитросу лень было пошевелиться. Он с трудом оторвал глаза от регистрационной книги и возвел их к верхним полкам.

– Понятно, понятно, милая, но ведь она во-он где, на самом верху!

Это «во-он» он тянул так долго, будто мастика и в самом деле находилась на небесах.

³⁰ Старинная мера аптекарского веса равная 3,732 г.

Девушка ушла ни с чем, а кир Димитрос опять склонился над книгой: «Марта месяца, дня двадцать пятого, на Благовещенье: отварная треска с лимоном, треска с петрушкой, жаркое из рыбы, жареная треска с чесночным соусом; салат из огурцов». Ах, как вкусно!

Наконец и это занятие ему наскучило. Он опять взялся за мухобойку и вздохнул. «До чего же я докатился – я, сын прославленного капитана Пицokolоса! Дед держал брандер и поджигал турецкие фрегаты! Отец тоже бил турок, всю жизнь не выпускал из рук винтовку. А я вот на мух охочусь», – раздраженно думал кир Димитрос, поднося к своей добродушной одутловатой физиономии кукиш. От воспоминаний о своих храбрых предках кир Димитросу стало тесно в убогой таверне и захотелось, упершись руками в стены, подобно Самсону, повалить их разом, чтобы в мире стало просторней, и свежий ветер развеял его тоску.

Но как раз в тот миг, когда ему представилось, что он сокрушает стены и выходит на свет Божий, в таверне вдруг сделалось совсем темно. Это, отдуваясь, на пороге выросла его супруга – высокая, мощная, словно крепостная башня. Кир Димитрос сразу сник. Опять пришла по мою душу, ночи ей мало, с досадой подумал он. И откуда она только силы берет! Керосину ей, что ли, в задницу налили? Будь они неладны, эти ретимнийки!

– Милости просим, заходи! – сказал он громко и снова с излишней поспешностью открыл амбарную книгу, делая вид, будто ужасно занят.

– Вставай, Димитрос! – трубным голосом воззвала жена. – Вставай, муженек, пойдем в поле – проветришься, кости погреешь! А то скоро вовсе рассыплешься в этой пылище. Давай-давай, шевелись! Я прихватила с собой кое-что тебе полакомиться... – Она наклонилась и прогудела ему в самое ухо, – голубцы из баклажанов с перчиком... Объедень! Да еще на свежем воздухе, на травке!..

– Не пойду! Не пойду! – испуганно завопил кир Димитрос и обеими руками вцепился в стойку.

– Пойдем, Димитраки, сделай милость! Да не бойся, не трону!

Но бедняга принялся отчаянно махать мухобойкой, словно отгоняя огромную мясную муху.

– Не пойду! У меня сегодня столько работы, разве не видишь? Я проверяю счета, подвожу баланс – сколько я задолжал, сколько мне задолжали... Как же без этого торговать? Прошу тебя, иди одна!

– Ладно, пошли, Маруль! – Кира Пенелопа в сердцах дернула служанку за рукав. – Будешь мне и вместо товарки, и вместо мужа!

Показав кир Димитросу свой необъятный зад, его половина выплыла из таверны и потащила обратно домой.

– Будь проклята такая жизнь, – ворчала она по дороге. – И дал же мне Господь в мужья эту трухлявую колоду! Мне бы настоящего мужика, который и поест вкусно любит, и выпить не дурак, и жену не обидит. Народили б уже дюжину детишек, и у меня бы на сердце было спокойно. Но кабы жила я в Ретимно, среди порядочных людей, а от этих ослов и ждать нечего!

Кира Пенелопа все больше распалялась, к тому же у нее живот подвело от голода. А солнце тем временем поднялось высоко, дразнящие запахи весенних трав щекотали ноздри.

Взопревшая Маруль понуро плелась за хозяйкой с корзиной в руках. Скособоленные тапочки то и дело спадали с ног, в конце концов она их сняла, положила в корзину, прямо на голубцы, и пошла босиком.

Около церкви Святого Мины кира Пенелопа стала как вкопанная и перекрестилась.

– Святой Мина, тебе ведомо, о чем я молюсь денно и ночью, так пособи же!

Зазвонил колокол, послышались голоса и смех: по узкой улочке мчались школяры, опаздывая на урок. У кир Пенелопы защемило сердце при виде этой веселой стайки.

– Э-эх, – вздохнула она, – вот бы все эти детки были моими! От кого угодно, хоть и не от Димитроса, прости, Господи, меня, грешную!

Она раз мечталась о здоровом, красивом производителе (сколько таких встречалось ей и в жизни, и в грезах!), с которым могла бы прижить кучу детей. Вон покойная жена Барбаянниса от кого только не рожала! Один Бог знает, кто отец ее соседки Катиницы, супруги Красойоргиса. А Барбаяннис, хотя и слаб на глаза, все ж таки увидел, что ему рога наставляют, даже щупал их руками, а что поделаешь? Однажды свалил его тяжкий недуг, помирать уж было собрался и зовет жену.

– Скажи, ради Христа: наши дети все от меня?

Но та будто воды в рот набрала.

– Ну скажи, не бойся, видишь, ведь я помираю!

– А ну как не умрешь? – ответила эта бесстыжая.

Вспомнив тот случай, кира Пенелопа улыбнулась и отошла в сторону, уступая дорогу школярам. В одном из них она узнала Трасаки, сына капитанши.

– Трасаки! Эй, Трасаки! – окликнула она, вытаскивая из корзины апельсин, чтобы угостить мальчишку.

Но Трасаки не слышал, не до того ему было. Обняв за плечи приятелей – Манольоса Мастрасаса и Адрикоса Красойоргиса, – он что-то увлеченно им нашептывал, а те хохотали во все горло. Это он вчера в классе насыпал у порога дробы. Учитель Сиезасыр, дядя его, как раз разучивал с ними новую песню, чтобы спеть хором на воскресной прогулке за город: «Опять весна пришла, опять цветы цветут!» Ученики принялись вопить ее на разные голоса, и Сиезасыр, вдохновенно дирижируя указкой, старался перекрыть этот нестройный хор.

– Вот что, дети, пойдете во двор порепетируем. А то, как бы нам не опозориться послезавтра. Пошли!

И торжественно направился к выходу, но у порога поскользнулся на дробы и рухнул мешком на пол, даже очки разбились вдребезги.

– Как думаешь, переломал он себе ребра? – обеспокоенно спросил Андрикос.

– Ну конечно! – заверил его Трасаки. – Ты что, не слышал, как он хряпнулся? Наверняка переломал.

– А слышали, как он запищал: «Ой-ой-ой!»? – спросил Манольос, возбужденно потирая ладони. – Бьюсь об заклад, он переломал себе все ребра, потому и встать не мог. Только стонал и шарил руками по полу – гляделки свои искал.

– Значит, прогулка нам не грозит. А теперь сделаем, как сговорились, идет?

– Идет! Идет! – закричали товарищи.

Мимо пробежала собака; сорванцы, схватив по пригоршне камней, помчались следом. Но близ церкви Святого Мины их остановили вопли и ругань.

– Небось старая Хамиде Эфендину колотит, – догадался Трасаки. – Поглядим?

Мальчишки на цыпочках приблизились к решетчатой ограде. Им открылся просторный двор, заросший травой. Посреди двора высилась могила святого, украшенная разноцветными полосами ткани. Рядом стояла растрепанная босая старуха с крючковатым носом. Одной рукой она держала за горло своего сына, а в другой у нее были вилы, старуха грозно ими потрясала.

– Неверный пес, покарай тебя Аллах! Опять собрался к грекам, чтобы они накормили его свининой и опоили вином! Запорю до смерти!

Эфендина изо всех сил вырывался из лап матушки и орал благим матом.

– Не пойдешь! – бушевала старуха, вцепившись в него мертвой хваткой. – Не пущу! Или ты не понимаешь, какой это позор – идти туда! Ведь сам всякий раз, как протрезвеешь, катаешься, бьешь себя в грудь, срываешь чалму, мажешь лысину навозом и ходишь так по улицам, реवेशь как ишак! А греки, знай, потешаются, мусором в тебя бросают. Хоть бы праха святого своего прадедушки постыдился! – Старуха указывала на могилу, украшенную разноцветными полосами.

– Я днем и ночью о нем думаю! – Эфендина воздел руки к небу. – Клянусь, мама, все время думаю о нем!

– Зачем тогда себя оскверняешь?

– Да затем, чтобы стать святым, как мой прадед! Не согрешив, святым не станешь. Если б я не грешил, то и не каялся бы, не взывал бы к Аллаху, не показывал бы людям лысину. Понятно тебе?

У старой Хамиде даже челюсть отвисла. Вдруг и впрямь истина глаголет устами ее придурковатого сына? Ведь говорили старики, что дед ее всю жизнь был последним проходимцем, и только когда вдоволь насладился мясом, вином, женщинами, когда из него уже труха стала сыпаться, ударился он в святость, залез на минарет да и так больше оттуда и не спустился. Ни еды, ни питья не принимал, лишь плакал, бил себя в грудь и взывал к Аллаху. Семь дней и семь ночей сидел он там, а на восьмой вдруг истошно завопил, так что вздрогнула вся Мегалокастро, и в небе появилась огромная стая ворон. Внял Аллах мольбам человека и послал воронье, чтобы прекратили его мучения... Что, если именно такой путь ведет к святости?

Хамиде уже не знала, то ли продолжать колотить беспутного сына, то ли оставить его в покое, присесть где-нибудь в уголке да прогреть на солнышке старые свои кости. Наконец она бросила вилы прямо на усыпальницу святого и отпустила Эфендину.

– Пропади ты пропадом! Делай как знаешь! Жри, пей, хоть лопни. А потом мажь себе лысину навозом. – Сказала и лениво поплелась в глубь двора.

– Жаль, до настоящей драки не дошло, – сказал Андрикос.

– Ничего, отец завтра задаст ему жару, – утешил приятеля Трасаки. – Ну все, пошли! А завтра, как солнце сядет, будьте готовы. Я зайду за вами. Захватите рогатки, а я возьму веревку!

– А я – палку, – сказал Андрикос.

– А я – кол, – прибавил Манольос.

– Давайте Николаса Фуругатоса с собой возьмем. Он сильный.

– Это ладно. – Манольос вдруг остановился. – А ну как ее отец нас застукает?

– Подумаешь! – отмахнулся Трасаки. – Что он нам сделает? Он же не нашенький, а из Сироса. Руки коротки!

– А мы сможем ее поднять? – засомневался Андрикос. – Ведь не меньше центнера потянет! Да еще, поди, кричать начнет...

Трасаки сдвинул брови.

– Вот что я тебе скажу, Андрикос: в таких делах нужна смелость. У тебя ее нет, тогда уходи, другого найдем.

– Это у меня-то смелости нет?! – обиженно вскинулся Андрикос. – Да у меня ее хоть отбавляй!

– Завтра увидим, – ответил Трасаки и прибавил шагу.

Подошли к школе.

– Только помните: могила! – приказал Трасаки. – Кто, хоть словом, обмолвится, лучше пусть не показывается мне на глаза. У отца завтра пирушка, стало быть, меня никто не хватится. А вы тоже смаетесь из дома. Скажете, мол, к вечерне идем. Матери еще и денег дадут – на свечу да на жареный горошек.

– Это ее, что ль, приманить?

– Еще чего! – фыркнул Трасаки. – Сами полакомимся!

Тем временем капитан Михалис, надвинув платок на брови, проезжал мимо Зловещей скалы. Слева плескалось море, справа каменной стеной вставала проклятая людьми гранитная глыба. Всякий христианин, проходя мимо, крестился и взывал об отмщении, ведь в каждой трещине тут тлеют кости замученных турками земляков.

Капитан Михалис тоже осенил себя крестным знаменем. Десять лет прошло с тех пор, как у подножия этой скалы был убит его брат Христофис с двумя сыновьями. Сперва никто не знал, куда они сгнули, и лишь много дней спустя в обрыве, над которым кружилось тучами воронье, нашли три трупа с отрезанными языками. Так наказали их турки за то, что за полночь отец и сыновья возвращались навеселе домой с крестин Трасаки. Взглянули, видно, на море, душа в них разыграла, вот и затянули песню о Московите. Да напоролись на турок.

– Сколько уж веков ты тщетно взываешь о помощи, Богом забытый остров! – воскликнул капитан Михалис и тронул поводья. – Ни от кого нет тебе защиты – ни от Всевышнего, ни от сильных мира сего. Сам берись за оружие. Хватит надеяться на чудо да на Московита!

Глубоко вздохнув, капитан Михалис стал удаляться от моря в горы. Глаза его затуманились, ноздри жадно вдыхали свежий горный воздух. Скалы Крита весною пахнут чабрецом и шалфеем.

– До чего ж ты прекрасен, мой Крит! – снова вырвалось у него. – Эх, зачем я не орел, а то любовался бы тобой из поднебесья!

И правда, с высоты остров предстал бы, наверно, еще более прекрасным и величавым: опаленные солнцем вершины устремляются ввысь, а берег сверкает то белизной песка, то багровеет, крутой и обрывистый, будто облитый кровью. Среди темных гранитных скал в глубоких ущельях притаились тихие деревеньки, монастыри, одинокие часовенки. А как красивы три города с их венецианскими крепостными стенами – Ханья, Ретимно, Мегалокастро! Да только истерзана, взята в полон эта красота! Сам Господь Бог мог бы любоваться Критом с орлиной высоты, если б много веков назад не предал его забвению и не отдал на поругание нехристям, превратившим церкви в мечети.

Правда, далеко не все критяне смирились с жестоким приговором Всевышнего. То и дело брался народ за оружие, чтоб сбросить ненавистное ярмо. До сих пор живет в нем вера, что услышит его Владыка небесный, отложит другие дела и исправит сотворенную несправедливость. Может, кто-то и ждет Божьей милости со слезами и смирением, а критянин не таков: он, чтобы услышал его Господь, палит из винтовки прямо у того над ухом. Взбешенный султан насылает на мятежников всякую нечисть – пашей, низами с кольями, саблями да виселицами. А в подмогу им европейцы снаряжают бронированные корабли против борющейся со смертью углой лодочки, затерянной в море между Европой, Азией и Африкой. Даже мать Греция молит критян сохранять терпение и спокойствие, опасаясь, что они потопят ее в крови. «Свобода или смерть!» – отвечает гордый Крит и колотит прикладом в небесные врата. Прежде восстания вспыхивали с каждым новым поколением, а теперь, после Великого восстания, гнев и вовсе застит глаза народу: не желают люди терпеть да выжидать и при каждом удобном случае бросаются на кровожадного зверя, не сознавая, что терзают собственное тело, сжигают свои деревни, оливковые рощи и виноградники, своими трупами усеивают землю Крита. А израненный остров по-прежнему задыхается в неволе – взлетает на воздух вместе с монастырем в Аркади в шестьдесят шестом году, вновь поднимается в семьдесят восьмом и опять терпит поражение. Сейчас идет восемьдесят девятый, христиане в деревнях снова зашевелились: все чаще потирая руки, обращают они взоры на север, к Греции, а то и еще дальше – к России. В который уж раз не дает им покоя голос предков. Тесно, невмоготу становится сидеть по домам, и потому собираются они вместе да просят учителя, священника или местного музыканта сыграть и спеть им о муках Крита, разжигая в сердце ярость и решимость. А с каждой новой весной быстрее струится по жилам кровь, побуждая к действию. Но турок тоже не дремлет, рассылает фирманы и войска, чтобы усмирить бунтовщиков.

Вскипала кровь и у капитана Михалиса. Он пришпорил кобылу и, объехав Зловещую, приблизился к городу Русес, стоящему на красноземе. Захотелось есть. И он завернул на постоялый двор, который держала богатая вдова, любительница повеселиться и большая охотница до мужского пола. Завидев его, она выбежала навстречу, пышнотелая, неопрятная, да еще и

луком от нее разит. Капитан Михалис досадливо сморщился и отвернулся: он терпеть не мог распутных баб.

– Добро пожаловать, уважаемый капитан Михалис! Сколько лет, сколько зим! – закудахтала вдова. – Коли не постишься, то могу угостить тушеным зайцем с зеленым лучком и тмином.

И наклонилась, подвигая гостю скамейку. В вырезе сорочки призывно заколыхалась покрытая пушком загорелая грудь.

– Поешь, капитан Михалис, ты же путник – большого греха тут нет. – Вдова лукаво ему подмигнула.

Капитан Михалис рассвирепел. Ему были противны и эта женщина, и он сам, и даже мысль о еде вдруг опротивела.

– Ничего мне не надо! Я не голоден! – отрубил он и, вскочив на коня, помчался галопом.

Горы остались в стороне. Дорога терялась теперь в нежной зелени полей. Вокруг гудели пчелы, доверчиво щебетали птицы, вернувшиеся в свои прошлогодние гнезда. Сегодня, в первый день апреля, остров будто лучился счастьем... Но капитан Михалис ничего этого не замечал. Куда его понесло в такую рань? За кем гонится? А может, сам убегает от погони? Туча, застлавшая глаза, точно омрачила залитый солнцем берег. Дорога вилась перед ним, и окутанные утренним туманом Ласифьотские горы издали напоминали медленно клубящийся дым. Двое пожилых крестьян на осликах, приложив руки к груди, поприветствовали его:

– Дай Бог тебе здоровья, капитан Михалис!

Но он не ответил на их приветствие. Мыслями он был уже у ограды Нури-бея и примерялся, как преодолеть ее, как проникнуть в сад. Ну влезет, а что дальше?..

Капли пота выступили у него на лбу. Он сунул руку за кушак и нащупал рукоять кинжала.

– Правду сказал собака! – прошептал он. – Один из нас лишний на этом свете!

Но когда капитан Михалис сжимал рукоятку кинжала, мысленно перепрыгивал через высокий забор и пробирался через сад, между горшков с цветами, к дому с решетчатыми окнами, за которыми еще горел красно-зеленый фонарь, ему внезапно почудился звонкий смех из верхнего окна. И тогда уже пот градом покатился у Михалиса со лба на шею, а затем по всему телу. Он опомнился: ведь он едет не затем, чтобы убивать. Какой-то бес овладел им, коварный, незванный, непохожий на свою родню, – он бесстыже улыбается, от него исходит аромат мускуса, а лицо... Боже, какой позор! Лицо у него женское!

– И не стыдно тебе, капитан Михалис! – сердито сказал он себе. – Вот до чего ты докатился!

Ему показалось, что все предки выходят из могил, чтобы осыпать его проклятьями. Он безумно огляделся по сторонам и стиснул кулаки.

– Ступайте обратно в землю! Пока я здесь хозяин!

Он отер лоб и словно очнулся. Увидел могучие горы, море. Земля больше не гудела под ногами. Наконец он вспомнил, зачем и куда направляется. Вчера вечером он дал бею слово и должен его сдержать.

Много лет назад судьба забросила в деревушку Ай-Яннис его брата Манусакаса. Он поставил дом в центре деревни, обжился, пустил корни. Теперь у него подросли сыновья и дочери, дождался он и первого внука, но до сих пор помнит тот день – 14 сентября 1866 года, – когда со своими бойцами преследовал турок. Кажется, будто вчера это было. Зашли они в Ай-Яннис. В одном из домов встретил Манусакас молодую женщину, она рыдала, рвала на себе волосы. Оказывается, перед самым приходом их отряда налетели турки и зарезали ее мужа (они только-только свадьбу сыграли) прямо у нее на глазах. Куда же Бог смотрит? Неужто встал на сторону турок?

Манусакасу шел четвертый десяток, два года назад он овдовел. Молодая женщина сразу ему приглянулась, потому он решил расположиться со своим отрядом на этом подворье. Вдова как увидела его, так даже перепугалась: заросший, небритый, весь пропах порохом.

– Пресвятая Богородица! – вскрикнула она и закрыла лицо передником.

Манусакас подошел к ней и заговорил тихо и ласково:

– Поплачь, хозяйюшка, поплачь. Выплачешься – легче станет. И я вот по милости поганых турок вдовцом остался. Все слезы выплакал.

Он присел возле нее на корточки, смотрел, как она убивается, и не мог понять, что с ним творится. Отчаянно хотелось обнять эту сломленную горем женщину, страстно прижать к груди! Никогда еще Манусакас не испытывал ничего подобного. И в то же время робел перед ней: только и осмелился положить ей на плечо дрожащую руку.

– Ну будет, полно! Так и глаза испортить недолго, а мне, ей-богу, жаль таких красивых глаз. Ты не подумай, я не какой-нибудь вертопрах. Не буду хвастать, но спроси кого хочешь от Кисамоса до Ситии, и всяк тебе скажет, кто такой капитан Манусакас!

Он внезапно умолк. Боялся неосторожно брошенным словом испугать, обидеть женщину. Но уйти отсюда тоже не было сил. Манусакас придвинулся поближе, наклонился к ней и успокаивающим голосом стал рассказывать о том, что видел и пережил за время восстания. Много женщин овдовело, много детишек осталось сиротами, слезы и кровь по всему Криту льются, и нет конца-краю этой реке. Так что грех думать только о своем горе и забывать о муках Родины!

Женщина при этих словах подняла голову. Вытерла слезы, вздохнула и тоже начала рассказывать. Поведала о гибели мужа, показала кровь, засохшую на пороге, – она не хочет ее смывать, чтобы вечно помнить о муже и оплакивать его.

А Манусакас, как бы невзначай касаясь то ее плеча, то волос, то колена, приговаривал:

– Правильно, хозяйюшка, правильно! Я тоже так думал после смерти жены. Убили ее, сердечную, во дворе у нас за то, что муж у нее бунтарь, – мне, одним словом, в отместку. Весь двор кровью залили, и думал я, что буду глядеть на эту кровь вечно, но дожди смыли ее, и камни снова стали белыми... – Он тоже вздохнул. – Вот так, хозяйюшка, и с душой человеческой: время смывает кровь, залечит раны, и все понемногу забудется...

Женщина аж содрогнулась, услышав это, а Манусакас снял с плеча свою пропотевшую бурку и набросил на нее.

– Холодно... Простудишься.

Женщина сжалась в комок и вся вспыхнула. Ей показалось, что не бурка обнимает ее плечи, а чужой мужчина. Хотела было сбросить, да как обидишь гостя!.. Поэтому она только поежилась, не сказала ни слова. Поначалу со страхом, а затем с невольным трепетом она ощущала, как тепло мужского тела постепенно вливается в нее. Вспомнился муж, их первая брачная ночь, горячие объятия, жадные руки... Согревшись под буркой, она и правда немного успокоилась. Прерывистое дыхание сидящего рядом мужчины неожиданно вызвало в душе жалость и сочувствие.

– Нечем мне тебя угостить, – произнесла она. – Разбойники эти весь дом обчистили. А ты небось голодный, с войны идешь.

– Не голодный я, Бог с тобой! Да и как можно думать о еде, когда тут такое горе! Разве что соберешься с духом, и подкрепимся вместе. – Он сам смутился от двусмысленности своих слов, кашлянул, со страхом взглянул на нее, не зная, чем загладить неловкость. – Не сердись, поверь, я не в обиду тебе сказал. Хотелось утешить, да, видно, не найти мне таких слов...

Он опять вздохнул. Потянулся было за кисетом, но раздумал. Вдова подняла на него мокрые от слез глаза под длинными ресницами. Теперь уже и она ждала его слов, не решаясь самой себе в этом признаться.

– Стыд сковал мой язык, – продолжал Манусакас, – но и молчать не могу. Как на духу тебе скажу, уж не взыщи. Коли лгу, пусть Бог меня покарает. Как вошел я в твой дом, увидел твои слезы – будто нож мне вонзили в сердце. Чую: пропал! За всю жизнь не доводилось видеть такую красоту! Да не пугайся ты, я же не разбойник, намерения у меня серьезные. Муж твой погиб, никакими слезами его не вернешь, моей жене, царство ей небесное, тоже возврата нет. А раз мы одни на всем свете, то почему бы не жить нам вместе?

Вдова вскрикнула, задрожала всем телом, забилась в угол. Манусакас отошел к двери – пускай немного опомнится, отойдет. Он выглянул во двор на своих бойцов. Те развязали котомки и, усевшись на траве, закусывали. Взгляд Манусакаса скользнул дальше, к плодородным полям, к сгибающимся под тяжестью плодов оливковым деревьям. На холмах, поскрипывая, мирно крутились ветряные мельницы...

Вот здесь я и осяду, с уверенностью подумал он. Земля тут добрая, богатая. Да и вдова по сердцу мне пришлась. Народит мне здоровых, красивых детей. Клянусь Богом, никуда я отсюда не двинусь.

Он повернулся к женщине. Она пригладила волосы, слезы на щеках высохли. А теплую бурку так и не сбросила с плеч.

– Вот что, капитан Манусакас, – твердо проговорила она, – слова твои не делают тебе чести. Даже если ты и правду сказал, все равно это великий грех. Ведь кровь моего мужа еще алеет на пороге!

Манусакас вздохнул, прошелся по комнате.

– Да я же ничего у тебя и не прошу. Разве что кусок хлеба да глоток вина! И еще, не побрезгуй, хозяйка, пришей мне пуговицу на рубаше – в бою потерял...

Вдова молча встала, нашла иголку, вдела нитку. Манусакас опустил перед нею на колени, и она принялась пришивать пуговицу, чувствуя, как колотится у него сердце под рубашкой.

Она торопливо пришила пуговицу и поднялась. Открыла сундук (кое-что турки все же оставили), достала белоснежную скатерть, застелила стол, и в доме будто сразу светлее стало. Прошла на кухню, разожгла огонь. Манусакас скрутил, наконец, сигарку, закурил и сел на лавку у порога, как будто хозяин. Исподтишка он глядел, как хлопочет по дому молодая женщина, как умело подгребают уголь, ловко готовит пищу, расставляет на столе посуду. Глядел – и душа радовалась. Никогда еще с таким удовольствием не ждал он обеда. И все потому, что уже знал, был уверен: эта молодая сильная женщина вскоре (когда пройдет положенный срок после похорон мужа) будет делить с ним до гробовой доски не только пищу, но и постель.

Так женился Манусакас на Христине и пустил корни в той деревне. Христина не обманула его ожиданий: почти каждый год рожала по двойне, так что в доме стало шумно, как в улье. А вот недавно появился у них и первый внук. На радостях Манусакас так напился, что, взвалив на плечи осла, понес его в мечеть – дескать, пусть помолится Аллаху.

– Ну что тут такого? – рассуждал вслух капитан Михалис. – Я бы, наверно, еще и не то учинил. Однако, давши слово, держись. Я должен отчитать его. Хоть он и старше меня, но я же как-никак капитан!

На склоне горы показалось их родное село Петрокефало. А дальше, в ложбине, утопала в зелени деревня Ай-Яннис. Капитан Михалис пришпорил кобылу, она заржала и рванулась вперед.

Ворота во дворе Манусакаса были распахнуты. Пригнув голову, капитан Михалис проехал под ними.

– Эй, Манусакас!

Вся семья обедала за огромным столом. Манусакас восседал во главе; на стене прямо над ним висела плетка. Напротив сидела супруга, раздобревшая, довольная. Христина, конечно,

расплылась, да и грудь отвисла – поди выкорми такую ораву! – но лицо у нее было совсем еще молодое, свежее, словно роза.

Услышав голос брата, Манусакас вскочил и вышел во двор.

– Заходи, брат! – Он улыбнулся, протянул ручищу. – Как раз к обеду поспел. Слезай, заходи!

– Я спешу, – ответил капитан Михалис. – Прикрой-ка дверь, разговор у меня к тебе.

– Да ну? Хорошие новости привез иль плохие?

– А это уж как ты посмотришь.

Манусакас прикрыл дверь, чтобы большая его семья не услышала разговора, и вопросительно взглянул на брата.

– Вот что я тебе скажу, брат Манусакас: не умеешь пить, так не пей!

Манусакас нахмурился.

– Это ты к чему?

– Да и ослов Господь не для того создал, чтоб они на людях ездили, а как раз наоборот. Ясно теперь, к чему?

– Ясно. Побратима твоего, Нури-бея, обидел, так? Может, мне у него прощенья попросить, а, Михалис?

– Не мели языком, знаешь ведь: я этого не люблю. Да только пойми: твои выходки пьяные наносят вред нашему делу. Еще не пришло время поднимать знамена!

– Ах так! – вспылал Манусакас. – А ты, значит, когда напьешься да горланишь песни про Московита, или ходишь по турецким кофейням, или забрасываешь беев на крышу, то все во благо христианам делаешь? Сперва на себя погляди, а потом уж ездь да поучай других. Ну, что молчишь? Правда глаза колет?

Капитан Михалис смутился. Что тут возразишь? Конечно, и сам он, когда напивается, не рассуждает, что на пользу христианам, а что во вред. Ему тогда все небо с овчинку кажется, он просто седлает кобылу и мчится по белу свету. Бывают моменты, когда готов он раздавить мир копытами, будто ореховую скорлупу. Пусть все летит в тартарары!

– Ага, стыдно стало! – ухмыльнулся Манусакас, видя, что брат хмуро рассматривает горные вершины. – Знаю, ведь ты точно так же думаешь. Раз такая судьба у Крита, можем мы хоть изредка злость свою на них сорвать? Помяни мое слово, на байрам мула отнесу в мечеть, чтобы ослу одиноко не было. И пускай меня убьют – плевать!

– Да черт с тобой! Не было бы хуже для Крита.

– А ты не бойся, ничего ему не делается. Люди могут погибнуть, а Крит бессмертен!

Капитан Михалис только вздохнул.

– Вот те крест, брат, – снова заговорил Манусакас, – бывает, задыхаюсь я тут, а почему – и сам не знаю. Ну, выпьешь, голова вроде бы ясная, а сердце так и рвется на части. Сам небось понимаешь. Была б моя воля – пробрался бы в Константинополь да прибил собаку султана, а нет – так хоть чем-нибудь в деревне своей себя потешу.

Капитан Михалис дернул за поводья, направив кобылу к воротам.

– Подумай, Манусакас, над тем, что я тебе сказал, хорошенько подумай, когда останешься один, и поступай, как совесть тебе подскажет. Вот и все. Будь здоров.

– Да куда ты, оглашенный?! Слезай, пообедаешь с нами! А то и заночуешь. Дом большой, места всем хватит. Племянников ты уж сколько не видал, да и Христина будет рада. А потом первого моего внука тебе покажу. Я решил назвать его Лефтерисом³¹, может, хоть он дождетс свободы.

– Не могу, спешу. Всем привет от меня.

– Что, даже с отцом не повидишься?

³¹ От греческого «элефтерия» – свобода.

– Говорю – времени нет. Завтра с утра много дел.

– Вот ослиная голова! Ничем его не сдвинешь! Ну ладно, езжай с Богом!

Капитан Михалис, пригнувшись, выехал из ворот. Разговором с братом он остался доволен: поговорили как мужчина с женщиной. Если б не боязнь уронить себя, непременно бы обнял брата напоследок. Родная душа: выплеснет свой гнев, коли приспичило, а там хоть трава не расти!

Как молния летел капитан Михалис к городу, и душа у него пела. В очередной раз он убедился, что не посрамит Манусакас свой род.

Солнце клонилось к закату. Соседки, едва прослышав, что капитана Михалиса целый день не будет дома, собрались у него во дворе – кто с шитьем, кто с вязаньем, кто с целебными травами, собранными в поле. Пришли кира Пенелопа, Хрисанфи, сестра Поликсингиса, Катиница, Мастрарадена. Настроение у всех было приподнятое: нынче суббота, можно отдохнуть, вволю наговориться. Слава Всевышнему, что дал людям воскресенье!

– Слыхали новости? – начала певучим голосом Катиница. – Прошлой ночью у Фурогатоса дом ходуном ходил. Никак опять жена беднягу поколотила.

– Вот позор-то! – подхватила кира Пенелопа. – А поглядеть на его усы, подкрученные да нафабранные, так кажется, мужчина хоть куда. Моему бы Димитросу такие усы.

– Нет, пусть бы лучше жене усы-то отдал, а сам бы юбку ее нацепил, – предложила Мастрарадена, та самая, что на ночь привязывала своего мужа за ногу к кровати.

– Как же он кричал, сердечный! – улыбнулась кира Хрисанфи. – Весь квартал перебудил. Мой брат как раз возвращался домой и слышал весь этот тарарам. А нынче утром встретил Фурогатоса и хотел его пристыдить: «Ну как ты, друг Фурогатос, позволяешь бабе себя колотить? Неужто не можешь ответить ей, как подобает мужчине? Ведь ты весь род мужской позоришь! Нас, мужиков! Как тебе не стыдно?» А тот знаете что ответил? «Стыдно, – говорит, – капитан Поликсингис, страсть как стыдно! Но только мне нра-а-авится!»

Соседки залились хохотом. Риньо тем временем подала угощение: кофе, варенье, бублики с кунжутом. И тут, по заказу, в ворота вошел сосед Али-ага с чулком и спицами. На плечи наброшена зеленая шаль, подарок Риньо. Лицо бритое, сам весь чистенький, аккуратный – от заплатанной рубахи до шлепанцев, из которых торчат тоненькие ножи.

Кира Катерина поднялась из-за стола.

– Добро пожаловать, сосед! Милости просим на чашечку кофе!

– Спасибо, кира Катерина, дай тебе Аллах здоровья, – отозвался Али-ага, по-турецки раскланиваясь с женщинами. – Я только что пил – с вишневым вареньем да с бубликом.

– Ну, не беда, соседка, лишняя чашка не повредит, уж выпей за компанию, – загомонили женщины. Все знали, что Али-ага хоть и нищий, но гордый. Никакого кофе, варенья, бубликов у бедолаги, конечно же, не было. Жил он впроголодь, при одном упоминании о еде у него слюнки текли. И соседки нарочно его этим поддразнивали.

– Так что ж ты себе нынче готовил, сосед? – спросила Катиница, лукаво подмигивая остальным, – одному Господу ведомо, какой ты искусник. У тебя, поди, и птичье молоко водится.

Али-ага самодовольно улыбнулся, сглотнул слюну, прицепил чулок к поясу и принялся со вкусом рассказывать, какого нежного, с хрустящей корочкой цыпленка зажарил себе к обеду. На гарнир бамья³², а соус – пальчики оближешь! Рассказывая, он то и дело причмокивал и сглатывал слюну. Соседки, давась от смеха, все спрашивали да спрашивали его, а потом стали укорять:

³² Овощная культура, однолетнее травянистое растение семейства Мальвовые.

– Ох, Али-ага, все у тебя мясное да мясное, да еще под соусом. Это же вредно для здоровья! Нужно хотя бы иногда немного зеленым питаться.

– Нынче на ужин, сосед, дам тебе мисочку врувы³³, – сказала Мастрарадена. – Вот увидишь, какой отдых будет твоим кишкам, а то набил их мясом, ровно колбасу!

– А я угощу тебя ржаным хлебом, – добавила кира Катерина. – Мы сегодня испекли. Ведь белые булки нельзя есть каждый день.

– А икра, – вмешалась кира Пенелопа, – неужто она тебе не надоела? Вот я для тебя припасла тарелочку битых маслин, они хоть и горьковаты, но для пищеварения очень хороши!

Таким вот деликатно предложенным подаянием и жил гордый старик, которого судьба забросила в греческий квартал. Позабывшись о пропитании Али-аги, соседки завели разговор о весенних полевых работах. Затем Мастрарадена со вздохом переключилась на другую излюбленную тему – неверность мужей. Со всех сторон посыпались жалобы. Катиница, к примеру, сетовала на то, что ее благоверный нажирается перед сном и после своим храпом мешает ей спать...

Тем временем на колокольню вскарабкался толстый, как бочка, Мурдзуфлос, звонарь церкви Святого Мины. Приставив ладонь к уху, он стал прислушиваться, как жужжит, точно пчелиный улей, Мегалокастро: грохотали мастерские, истошно кричали лавочники, расхваливая свой товар, жалобно пели нищие старцы под дверями домов, лаяли собаки, ржали кони, дребезжали колокольчики овечьей отары, которую каждую субботу гнали в крепость на убой... Мурдзуфлос расвирился.

– А ну тихо! Дайте и мне сказать! – Он схватил веревки, которые были привязаны к языкам трех колоколов, висевших у него над головой. – Семьдесят пять лет вас слушаю! Надоело!

Звонарь был редкостным молчуном. Всю жизнь за него говорили колокола – у каждого свой, особенный язык. Втайне он даже дал им имена: средний, самый здоровый, прозывался Миной, так же как глава и покровитель Мегалокастро; справа висела Свобода, а слева – Смерть. Сперва всегда начинал гудеть властным тяжелым басом святой Мина. Потом раздавался звонкий и радостный, как горный родник, голос Свободы. А последней медленно, точно прихрамывая, вступала Смерть. Эти голоса, казалось, вырывались из груди старого звонаря, из груди Крита и бесстрашно летели над крышами христианских домов и турецкими кварталами, над дворцом паши, разнося повсюду гнев и затаенные чаяния поработанных рабов.

Трехголосая бронзово-серебряная душа Мурдзуфлоса торжественно звенела и вселяла мужество и надежду в оскверненную турками крепость. Бывало это в дни главных праздников: на Рождество, на Пасху, 11 ноября – в день святого Мины и в день святого Георгия. Взволнованный Мурдзуфлос живо представлял себе, как принц Георгий на белом коне, одетый в фустанеллу и пестрый жилет, с патронташем и серебряными пистолетами, въезжает в город. На ногах у него грубые кожаные башмаки с красными помпонами³⁴. А позади сидит девочка – принцесса Свобода... Каждый год 23 апреля радостно отплясывал Мурдзуфлос под тремя колоколами: ему первому доводилось видеть въезд принца Георгия в гавань, и он приветствовал его громким колокольным перезвоном.

А вот сегодня вечером Мурдзуфлос был не в настроении. Сегодня, 1 апреля, ему стукнуло семьдесят пять. И как же незаметно они пролетели, эти годы! Он вдруг впервые в жизни понял, что состарился, что скоро умрет, так и не увидев Крит свободным... Выходит, кто-то другой будет звонить в колокола в тот священный день! Этого Мурдзуфлос представить себе не мог. Нет, даже если меня заберет дьявол, думал он, я обернусь вурдалаком и все же ухвачусь за веревку, когда приспеет время.

³³ Дикорастущая съедобная трава.

³⁴ Обувь греческих гвардейцев-эвзонов.

От таких невеселых мыслей холодный пот выступил на морщинистом лбу Мурдзуфлоса. Руки тряслись, и он с трудом удерживал веревки, звоня к вечерне.

Али-ага, сидя во дворе капитана Михалиса среди шумных, болтливых женщин, уж было рот раскрыл, чтобы поведать гречанкам очередную истину Магомета, но соседки, услышав колокольный звон, быстренько сложили работу, осенили себя крестом и заторопились по домам. Субботними вечерами в каждом доме разжигают огонь и греют воду для мытья. Босонogie служанки рьяно скребут полы, метут усыпанные галькой дорожки, поливают цветы. Старухи, достав из киота кадильницы и с полузакрытыми глазами бормоча имена умерших предков, окуривают жилища.

Когда ударили колокола, отец Манолис, запыхавшись, переступал порог своего дома. С самого утра навещал он прихожан, служил ежемесячный молебен, в каждом доме ему подносили по рюмке ракии, а угощение с тарелок он сметал в свои бездонные карманы. Пот лил с него ручьями, но отец Манолис, несмотря на усталость, был доволен.

– Эй, матушка! – окликнул он, хлопнув в ладоши.

Из кухни, улыбаясь и еле волоча за собой толстый зад, выползла беззубая попадья. В молодые годы она, судя по всему, была красива и женственна. Маленькая, как перчинка, родинка на подбородке когда-то сводила с ума молодого попа. Но теперь родинка превратилась в волосатую бородавку. Да и от всех прелестей остались у попадьи одни глаза, живые и лукавые. Она бросила быстрый взгляд на раздутые карманы мужниной рясы.

– Вечер добрый, батюшка! Умаялся?

Встав посреди двора, отец Манолис поднял волосатые руки к небу:

– Ох, умаялся! Неси скорее таз!

Попадья притащила огромный глиняный таз и принялась опорожнять бездонные карманы мужа. Доставала и доставала, складывая горкой в таз, лук, лук, котлеты, огурцы, фисташки, хурму, пироги с орехами и творогом, мушмулу, жареный горох...

– Ну и растрезвонился проклятый Мурдзуфлос, просто оглушил! А ну-ка, матушка, поворачивайся живее!

Таз уже был полон до краев.

– Все, батюшка! – выдохнула попадья, торопясь унести добычу в дом. – Дай тебе Бог здоровья на многие месяцы!

Освобожденный от груза, поп, подоткнув рясу, побежал служить вечерню.

Кира Хрисанфи, вернувшись домой, набросила на плечи красивую, расшитую золотом и серебром шаль, положила в небольшую корзину просфоры, две бутылки – с вином и оливковым маслом, – степенно переступила порог дома, направляясь в церковь. В молодости она была стройной и быстроногой, а теперь отяжелела, глаза стали тусклыми, а над верхней губой, на подбородке и щеках откуда-то появилась жесткая щетина...

– Да поможет тебе святой Мина, кира Хрисанфи! – приветствовал ее, проходя мимо, отец Манолис, глазами он так и пожирал корзину.

Но кира Хрисанфи едва ответила на приветствие: мысли ее витали далеко. С трудом удерживая дородное свое тело на распухших ногах, она чувствовала нестерпимую боль в каждой косточке, в каждом суставе. И думала о другом.

– Всещедрый святой Мина! – шептала женщина. – Каждую субботу ношу я тебе и просфоры, и вино, и масло, исполни же и ты мою нижайшую просьбу – дай умереть раньше брата. Он человек великодушный и, если будет жив, устроит мне пышные похороны, с фонарями...

Замечательные фонари привез недавно из Константинополя церковный староста. Искусно украшенные серебром и разноцветными хрусталиками, они покачивались на черных шелковых шнурах. Их заказывали только для похорон богачей. Рано увядшая старая дева,

кира Хрисанфи ничего уже не желала на этом свете, кроме похорон с красивыми фонарями. В девушках она просила святого Мину дать ей красивого и богатого жениха. Потом, смирившись с мыслью, что жить ей вековухой, стала просить святого, чтобы помог брату в торговле. Когда на Кипре было затишье, капитан Поликсингис от нечего делать открыл у Ханиотских ворот лавчонку и скупал у крестьян вино, оливковое масло, изюм, лимоны и сладкие рожки. Затем все это он перепродавал оптовым торговцам – «большим ослам», как он их называл, – и складывал в сундук золотые и серебряные монеты.

– Сделай милость, святой Мина, – молила кира Хрисанфи, – пусть дела у моего брата идут хорошо, и будут у тебя всегда просфоры, и свечи, и вино, и оливковое масло – все, что душе угодно! Пусть в доме нашем будет вдоволь еды, ведь сытная еда – все равно что муж и дети для женщины. Вот Али-ага клянется, что не хочет копить жир для червей на том свете... Не слушай его! У него в доме поживиться нечем, оттого и болтает своим языком.

Поднимаясь к церкви Святого Мины, кира Хрисанфи остановилась перевести дух у родника Идоменеаса.

– Все у нас слава Богу! – промолвила она. – Грех жаловаться!

Всю жизнь она только и делала, что пестовала своего красавца брата: обстирывала, потчевала, пылинки с него сдувала. А как она гордилась им! Настоящий мужчина, храбрый, благородный! А что бабник – не велика беда! Женщины ведь для того и созданы, чтобы давать наслаждение мужчинам. Она считала, что они с братом одно целое. Недаром в один день и час на свет появились. Только вот к сестре до срока пришла старость, тело жиром заплыло, но это пустяки. Лишь бы брат подольше оставался молодым, стройным и красивым. Ведь он – это я, утешала себя кира Хрисанфи. Я радуюсь с ним вместе жизни, распутничаю, гуляю по ночам, а вовсе не сплю в одинокой своей постели! Всякий раз, когда брат возвращался под утро домой, она вскакивала, снимала с него башмаки, грела ему воду, варила кофе. И жадно вдыхала исходившие от его усов и волос пьянящие запахи – иной страсти не дано было испытать на этом свете бедной старой деве.

Но в последнее время Хрисанфи что-то совсем сдала и, едва увидев новые погребальные фонари, почувствовала, что в них отныне самое большое ее счастье.

Разговаривая сама с собой и рассеянно кивая встречным, медленно шла кира Хрисанфи к церкви, на каждом повороте дороги останавливаясь, как делают пышные похоронные процессии...

А на другом конце города, около Ханиотских ворот, брат кира Хрисанфи, услышав, что звонят к вечерне, небрежно, будто играя на мандолине, осенил себя крестным знаменем и поспешил закрыть лавку.

Это был и впрямь красавец мужчина – стройный, всегда щегольски одетый: суконные шаровары с напуском, расшитый жилет, подпоясанный шелковым кушаком, высокие, белые с желтым сапоги на красной шнуровке, так что во время ходьбы в прорезях виднелись мускулистые, как у резвого коня, ноги. Он лихо сдвинул феску набекрень, кисточку перебросил за левое ухо и, печатая шаг по камням мостовой, направился к цирюльнику Параскевасу. Как-никак суббота, надо побриться.

Он, как и сестра, по дороге нет-нет да и остановится: то с одним, то с другим перекинется словом, посмеется, заломит еще больше феску и идет дальше бодрым шагом. Капитан Поликсингис упивался собой, своим сильным, гибким телом, которое пока что ни разу его не подводило. Да и голова лишними хлопотами не забита. Канарис верно говорил: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!» И капитан Поликсингис, независимо от того, война была или мир, жил по тому же правилу, оттого, должно быть, ему всегда и во всем везло. На случай смерти он уже выстроил себе мраморный склеп, напоминавший небольшой винный погребок: по обеим сторонам каменные скамейки с подушечками, посередине невысокий столик, в стене вырублен шкаф, где всегда стояла бутылка ракии и рюмки. Так что и в жизни капитану Полик-

сингису этот склеп пригодился. Частенько он набирал закусок, приглашал закадычных друзей и устраивал в склепе веселую попойку.

А сейчас он летел как на крыльях. Вечер выдался на славу: кругом ни ветерка и теплынь как летом. Сады благоухали ароматом роз, только что политой земли. Сейчас выйдет он из цирюльни свежий, чисто выбритый, обрызганный лавандой, и будто двадцать лет с себя сбросит. И когда пройдетя опять по тенистым улочкам, не одно женское сердечко сладко замрет.

– Эх, святой Георгий, ты один среди святых меня понимаешь! – вздохнул капитан Поликсингис. – Мы ведь тезки с тобой. Так яви же чудо – дай моей родине свободу! Сейчас дай, пока я не одряхлел, пока руки способны обнимать женщин и держать оружие! Через несколько лет я состарюсь и уж не смогу насладиться желанной свободой. Так не оставь наш остров, святой Георгий! Ты не думай, мы все как один встанем под твои знамена и будем драться не на жизнь, а на смерть! – Он упрямо сжал губы и свернул на Широкую.

Это была одна из самых оживленных улиц Мегалокастро. Начиналась она чуть западнее Ханиотских ворот и вела к Лазаретным, к большой площади Трех арок, на которой раскинулся дворец паши. Здесь же неподалеку среди деревьев была крытая деревянная веранда. Каждую пятницу на этой веранде играл турецкий военный оркестр. Другая центральная улица пересекала Широкую под прямым углом. Начиналась она у Новых ворот и вела на юг, к порту. На перекрестке двух этих улиц находилась главная площадь города. Широкая – это улица магазинов, аптек, мастерских, греческих кофеен; они сгрудились здесь так тесно, что торговцы весь день переговариваются из своих дверей, и вокруг стоит непрекращающийся веселый гомон. Беда, если мимо пройдет Эфендина или еще какой-нибудь убогий. Сапожники начинают разом грохотать своими молотками, подмастерья свистят и улюлюкают, со всех сторон беднягу забрасывают гнилыми лимонами и помидорами.

А в субботние вечера веселье здесь достигает пика. Вот и сегодня улица бурлит, как взбаламученная река. Хвала Всевышнему, еще одна неделя окончена. Лавочники развязывают фартуки, посреди тротуара льют воду друг другу на руки, умываются, отряхиваются, подкручивают усы и приказывают подмастерьям вынести на улицу скамейки, крепкий кофе и наргиле. Вскоре на улице появится арапка Рухени – черная лоснящаяся гора мяса. На ее лошадиной шее болтаются бирюзовые бусы, груди у нее свисают до живота и трясутся, когда арапка громоподобно хохочет, обнажая белоснежные зубы. На голове она держит лоток с кунжутной пастилой. А от родника Идоменеаса приплетется, как всегда, грустный и молчаливый пекарь Тулупанас с двумя лотками: на одном – пирожки со шпинатом, а на другом – бублики с корицей. Одним словом, Широкая улица стала больше похожа на дворец богача.

Капитан Поликсингис, остановившись, невольно залюбовался этой греческой улицей. В чистом воздухе (вокруг ни одного турка) раздавался певучий звон колоколов. Рай земной! – подумал Поликсингис. Всего здесь вдоволь, только греческого флага не хватает. Ну ничего, придет срок, и уж мы, критяне, позаботимся, чтобы он тут висел!

Кланяясь направо и налево, капитан Поликсингис вновь зашагал по улице к цирюльне.

Тени становились длиннее. На минарет поднялся муэдзин и призвал мусульман к вечерней молитве. Затем, прежде чем обратить свой взор к небесам, он немного постоял, поправил тюрбан, огляделся.

– О великий и всемогущий Аллах! – воскликнул он наконец. – Сколько бы добра ни создал человек, никогда ему не отблагодарить тебя за пару глаз, которую ты даровал каждому, чтоб любоваться миром!

Муэдзин облокотился о решетку минарета: внизу простирался пестрый многоголосый город с белыми куполами, садами, хоругвями. От избытка чувств толстопузый слуга пророка даже вздохнул.

– Чего только нет в этом благословенном городе! И женщины, и красавцы мужчины, такие, как Нури... Как погляжу на него да на его вороного коня, так сам бы в седло вскочил. А невинные мальчишки, которые в кофейнях такие амане заводят, что голова идет кругом, и не знаешь, где же лучше прославлять Аллаха – в мечети или в кофейне... Клянусь Магометом, даже вонь городская и та радует сердце. Когдаходишь в город через Лазаретные ворота и чувствуешь запах навоза, то душа расцветает, будто удобренный сад... Этот запах не променяю я ни на какие благовония! Вот ведь понюхает человек у себя под мышкой – кому, может, и вонь, а ему приятно!

Муэдзин снова вздохнул, зажал ладонями уши, и из груди его полился волнующий, страстный голос. Такой, пожалуй, мог бы поспорить с колоколами Мурдзуфлоса. Крик муэдзина то жаворонком взмывал к небу, раздирая его в клочья и пробиваясь к самому Аллаху, то, напившись небесной благодати, низвергался на Мегалокастро.

Под торжественный крик муэдзина Нури-бей, мрачный как туча, возвращался с хутора, куда ездил проветриться после минувшей тяжелой ночи. До сих пор стыд огнем жег ему грудь, и даже взмыленный конь под ним спотыкался, словно тоже чувствовал груз на сердце хозяина. Море играло закатными красками, кипело и пенилось, хотя на берегу ветра не было. Бей переехал вброд реку Йофирос. На виноградных лозах появились первые листочки, миндальные деревья уже отцвели, от смоковниц исходил пьянящий аромат.

– Да будь прокляты и море, и солнце, и деревья! – зло выкрикнул Нури-бей. – Нет мне в мире утешенья!

И впрямь, солнечный свет застила бею могучая фигура капитана Михалиса. Вспомнилось, как он ухватил рюмку двумя пальцами, и стекло треснуло пополам, а Эмине зашла от восторга и бросила в лицо ему, законному своему супругу, такие жестокие слова...

О Аллах, как стереть в памяти эту пытку! Прошлой ночью он напился до бесчувствия и заснул на пороге. Его преследовали какие-то кошмары, кто-то истошно вопил над ухом. Утром арап растормошил его, отмыл от блевотины, передел в чистое. Но минувшая ночь осталась в сердце, будто вонзенный нож.

Нури-бей ехал мимо турецкого кладбища. Мраморные фигуры в разноцветных тюрбанах, острые, как клинок, буквы на плитках. Казалось, огромное войско расположилось лагерем на подступах к Мегалокастро.

Он выхватил взглядом отцовскую могилу меж двух кипарисов. Мраморный тюрбан шевелится на голове у отца, как при жизни, когда свирепый Хани-али бывал в гневе. Все закружилось перед глазами у Нури-бея; конь, спотыкаясь, понес его прямо к могиле, он изо всех сил вцепился в гриву, чтобы не упасть. Задыхаясь, натянул повод; вороной громко заржал, встал на дыбы. Впервые за много лет животное отказывалось повиноваться хозяину – дурной знак!

Бей подумал, что надо бы слезть с коня и зайти поклониться праху отца, но ему вдруг стало жутко. В голове, как вспышка молнии, пронесся вчерашний сон: ведь это отец, грязный, босой, в лохмотьях, так страшно кричал во сне и потрясал черной костлявой рукою: «Сколько уж лет блуждаю я как тень в твоём растреклятом конаке! За двадцать три года мой сын, моя единственная надежда, не удосужился смыть кровь отца! Ты бы должен плакать, локти себе кусать от такого позора! А из твоего дома несутся амане и смех! Для чего же мы рожаем на свет сыновей? Чтобы забывали нас? Чтоб нашим душам за гробом не было покоя? Мало того, что ты не отомстил за меня – ты еще побратался с братом моего убийцы! Жене велел ему показаться без паранджи! Прочь с глаз моих, поганый гяур!»

Услышав такое страшное оскорбление, Нури-бей схватился за кинжал. Ну, хватит! Он хочет и из могилы мною командовать. Не выйдет! – чуть было не крикнул он, но слова застряли в горле. Только яростно ударил шпорами коня и понесся в город через Ханиотские ворота. Солнце быстро катилось к горизонту. Не заезжая домой, бей направился в греческий квартал.

А в это время с противоположной стороны, через Лазаретные ворота, в город въезжал капитан Михалис. Солнце садилось, и он едва не загнал кобылу, боясь, что закроют крепостные ворота. Издали он увидел, как из пыли и навозных куч поднимаются прокаженные. Целый день толпами сидели они у стен Мегалокастро, протягивая за подаванием полусгнившие руки. А когда солнце садилось, гуськом тянулись к себе в Мескиню. Сегодня их шествие возглавляли молодожены. Жутковато было глядеть на эту процессию: будто мертвецы, покрытые язвами, без носов, ушей, губ, повылезли из могил, услышав трубу архангела, дергались в адской пляске, и казалось, вот-вот они рассыплются по косточкам. Капитан Михалис с отвращением отвернулся. Для чего их земля носит? – подумал он. Только здоровые должны жить на свете.

Он послал вперед кобылу и проскочил через ворота как раз в ту минуту, когда стражники-низами, оборотившись на закат, затрубили в трубы и по флагштоку пополз вниз турецкий флаг.

Глава III

Ночь опять выдалась тяжелая. В удушливом неподвижном воздухе капитан Михалис никак не мог заснуть. Тихо, даже молодая листва не колыхнется на деревьях. Люди распахивали окна, бродили в темноте по комнатам, метались в постелях, разрывая ворот ночных рубах, – дышать все равно было нечем. Старухи выходили из домов и усаживались на пороге, обуреваемые недобрыми предчувствиями: неужто Мойра пробудилась и насылает несчастье на город! Тьфу, не сглазить бы! Все гнали от себя пугающие мысли, но невольно, шепотом выдавали свои страхи:

- Помнишь, в тот раз тоже ни один листок на деревьях не шелохнулся?
- Ох, помолчи, беду накличешь!
- А ты что, не чувствуешь, земля как гудит?
- Сказано тебе – замолчи!

Замирая от ужаса, жители ждали восхода как избавления.

И наконец из-за Ласифьотских гор выкатилось зловещее красное светило в просветах свинцовых туч. Обагрились, будто кровью, минареты и море. Мурдзуфлос ударил в колокола. В греческих кварталах просыпалась жизнь, распахивались двери, выходили празднично одетые, тщательно причесанные горожане: впереди разряженные дети – у мальчиков белые крахмальные платочки в кармашках, у девочек банты, – за ними под ручку родители, а позади бабушки.

Все шли поклониться конной статуе покровителя Мегалокастро, святого Мины, послушать воскресную проповедь митрополита, получить из его рук освященную просфору. Нынче для всех день отдыха, никто не торгует, лавки закрыты, всякому не мешает отрешиться от беса наживы и послушать слово Божье. Это дело бескорыстное, здесь ничего не теряешь, а завтра с самого утра снова аршин, весы, торговля – кто кого обдурит! Шесть дней дьяволу, один – Богу, на всякий случай поставим свечку обоим.

Церковь сияет, как небо весной, пахнет ладаном, внутри благословенная прохлада, хотя народу набилось как пчел в улье. Да еще не всем места хватило, многие православные стоят на паперти, а кое-кто и в церковном дворе. Митрополит – белобородый исполин в златотканом облачении и митре – возвышается у престола, словно посланец Господа, спустившийся на грешную землю для устрашения людей.

Отец Манолис в дорогой парчовой ризе уже стоит у царских врат и дребезжащим голосом читает Евангелие, а Каямбис только отпирает двери дома, чтобы отправиться с молодой женой в церковь. В прошлое воскресенье они отпраздновали свадьбу, вот почему на восьмой день, как велит обычай, молодожены в свадебной одежде должны прийти и поклониться покровителю города святому Мине и принести ему в дар большой сдобный хлеб, замешенный на корице, мастике и сахаре.

Домик их расположен поблизости от гавани, в квартале, открытом всем ветрам, – туда долетают даже соленые брызги волн. Гаруфалья повисла на руке мужа. Они выступают чинно, горделиво, кажется, их приветствует весь мир – и умытые улицы, и камни мостовой, и благоухающие мирты. Все точно оделось в свадебный наряд, даже колючки под заборами и те расцвели белыми цветами. Неужели это грязная, вонючая, поработанная турками крепость с извилистыми бедняцкими улочками? Неужели правду говорят, что это сверкающее всеми красками море ненавидит людей? Гаруфалья подняла томные глаза на мужа. Господи, и зачем нам слушать всякие поповские бредни, когда в доме у нас и так настоящий рай?!

Они свернули на улицу, ведущую к церкви. Каямбис тоже посмотрел на жену, и сердце у него защемило. Она идет рядом, такая красивая, нарядная, под тонкой тканью он чувствует тепло ее тела, вдыхает ее аромат...

Восемь дней и ночей он не будет целовать эти губы, ведь проклятый капитан Михалис небось уже спустился в подвал и ждет гостей. Каямбис застыл как вкопанный посреди мостовой. Да какое ему дело до святого Мины, до местных обычаев – он и родом-то не отсюда, а из Сфакьи. К чему терять время по церквям, когда его так мало осталось?.. Ничего, Господь их простит! Каямбис сжал руку жены и порывисто зашептал ей на ухо:

– А не лучше ли нам, милая, пока не поздно, воротиться в наше гнездышко?

Гаруфалья залилась краской, потупила взор и ответила еле слышно:

– Как скажешь, Яннакис!

Они повернули обратно – и зашагали так быстро, как будто убегали от погони. Пересекли площадь, миновали Большой платан у дворца паши, по кривым переулкам спустились в гавань. Каямбис пинком распахнул дверь. Молодожены заперлись в доме и снова бросились на кровать.

Капитан Михалис действительно спустился в подвал еще утром и сидел там в полном одиночестве. Справа от него на двух толстых брусках стояли три бочки вина. Слева – два глиняных сосуда: в одном оливковое масло, в другом зерно. К потолочным балкам были подвешены связки инжира, гранатов, айвы и желтые с зелеными прожилками зимние дыни. По стенам – пучки душицы, шалфея, майорана, мешочки с семечками. Скоро женщины принесут сюда вареных кур, осьминогов, колбасы, и подвал наполнится новыми запахами.

Капитан Михалис уселся на высокую скамью, прислонившись к стене головой, обвязанной черным платком, и застыл неподвижно. В голове туман, глаза ничего не видят, а в сердце незаживающая рана. Время от времени пальцы судорожно сдвигают край стола – еще немного, и тот сломается.

И что тебе неймется, капитан Михалис? Живешь вроде в достатке, жена – добрая хозяйка, люди тебя уважают. Сын – весь в отца, так что и помирать не боязно: есть кому продолжить твоё дело. У парня те же густые, колючие брови, а глаза такие же круглые, смоляные и даже родинка на шее точь-в-точь как у отца. Отчего беспокойно у тебя на душе? Не умеешь ни посмеяться, ни слово ласковое сказать, ходишь как в воду опущенный.

Вспомнилось, как однажды вечером зашел к нему шурин Манолакис, веселый, разговорчивый, мастер шутки шутить. А он так глянул на него исподлобья, что бедняге не по себе стало. Посидел, поерзал, точно на раскаленных угольях, да и пошел себе восвояси. «Чего приходил? – буркнул капитан Михалис. – Думает, я буду с ним зубы скалить?! Вот добудем свободу для Крита, – то и дело мелькала у него мысль, – тогда придет и мой черед посмеяться!»

Нынче ночью приснился ему про это сон: Крит свободен, звонят колокола, улицы устланы ветвями мирта и лавра. В гавани с белого парусника сходит на берег святой Георгий и целует критскую землю. А он, капитан Михалис, подает ему на серебряном подносе ключи от Мегалокастро. И вот так глядит он на счастливый, свободный Крит, а душа все же не успокаивается. «Какого дьявола! – говорит он себе, едва не лопаюсь от злости. – Чего еще тебе не хватает?» Глаза застилает кровавая пелена, и будто бы Крит уже не Крит, а чудовище, распластанное на волнах, – Горгона, сестра Александра Македонского³⁵. Она отчаянно бьет хвостом, и от этого на море поднимается шторм. . . Капитан Михалис слушает вопли чудовища и чувствует, как в груди разрастаются корни Большого платана, а на ветвях его, точно колокола, качаются предки – босые, посиневшие, с высунутыми языками. Под бешеным ветром они гнутся к земле, и сам он будто склоняется перед ними. Но тут в один миг все исчезло, остался только фонарь с красно-зелеными стеклами, и под фонарем – Нури, угощающий его лимонной ракией и жареной куропаткой. А в углу комнаты, поводя черными бровями, залиvisto смеется черкешенка. . .

³⁵ В новогреческом фольклоре Горгона – сестра Александра Македонского, обращенная в русалку за то, что похитила у брата живую воду. Она плавает по морям и губит моряков, отрицательно отвечающих на вопрос: «Жив ли царь Александр?»

Капитан Михалис вскочил и принялся молотить кулаками в стенку, так что весь дом заходил ходуном. Затем вдруг опомнился, вперил злобный взгляд в низенькую дверцу подвала, сквозь зубы выругался: шуты почему-то запаздывали.

Но бесился он напрасно: приглашенные уже спешили к нему со всех концов Мегалокастро. Первым явился Вендузос, хозяин таверны. Сегодня он проснулся рано утром и стал на колени перед иконой своей покровительницы Амбелиотисы³⁶: пускай даст ему сил выдержать попойку, которая будет длиться восемь дней и восемь ночей подряд – от воскресенья до воскресенья. Много лет назад заказал он монаху Никодимосу икону Богоматери Амбелиотисы – то есть не кормящей с младенцем на руках, как обычно рисуют иконописцы, а матери с огромной гроздью винограда. Монах сперва отказывался: мол, такого не бывает, об этом в Святом писании не сказано, стало быть, грех. Но Вендузос прибавил к условленной оплате бутылку ракии да кучу вяленой трески, и монах не устоял: перекрестился, достал кисти и нарисовал Пречистую с виноградом. И вот Вендузос стоит перед ней босой, в одних подштанниках и молит:

– Пресвятая Дева Амбелиотиса! Иду на великую муку в подвал к капитану Михалису. Я не пожалел денег, ракии и вяленой трески, чтоб украшал мое жилище твой светлый образ! Помоги же мне и в этом испытании, не дай подохнуть как собаке в логове этого неукрощенного зверя! Боюсь, восемь суток мне не выдержать, так наставь же его на путь истинный, чтобы отпустил нас побыстрее. Аминь!

Вендузос умылся, оделся, достал из-за киота лиру и вышел во двор. Жене с дочерьми оставил денег на неделю да наказал проводить его каждые два дня – кабы чего не случилось. Потом велел старшей дочери, грамотейке учительнице, написать несколько слов на клочке бумаги, засунул ту бумажку в карман, обвел грустным, будто прощальным, взглядом свое хозяйство и ушел.

По дороге заглянул в свою таверну, на самом видном месте прикрепил бумажку: «Закрывается на восемь дней. Владелец отлучился по личным делам». Ну вот, теперь можно и к Михалису поспешать, да, уже надо – он опаздывает. Этот дьявол и слова не скажет в упрек, а только сдвинет брови, так что мурашки у всякого по спине забегают.

Проходя мимо дома старшего брата, зажиточного купца, Вендузос прибавил шагу, разговаривая сам с собой: «Только бы этот мерин меня не заметил, а то опять осрамит при всем честном народе. Его хлебом не корми – дай меня поучить! Ну ничего, я ему тоже позавчера показал. Иду мимо его хорба, а он тут как тут – рожу скривил и ну меня поносить: мол, как тебе не надоест пить горькую, уж седина в голову, а ты все хлещешь и хлещешь! Ну, я собрался с духом, облокотился о стену, а то ноги не держали, и говорю: «Ох, это ты, твоя милость! И как тебе не надоест быть трезвенником, вон, брюхо какое наел, а все не пьешь и не пьешь!» Прохожие, какие тут случились, чуть животики не надорвали, а этот мерин только язык прикусил да быстрее в дом... Может, я бы и впрямь бросил пить, да, видать, на то Божья воля, чтоб я родился в страстную пятницу. Коли пошел бы по стопам отца – стал бы священником и теперь, как знать, может, до епископа бы дослужился. Так ведь это надо было учиться, корпеть над священными книгами. А мне это ни к чему, раз дал Господь талант играть на лире. Как заведу – камни и те в пляс пускаются. Ни свадьба, ни пирушка без меня не обходятся. Вот поневоле и привык прикладываться к бутылке, жить без нее не могу. Через это и таверну открыл, и Богородицу повесил в изголовье, какой ни у кого из православных нету. Другие-то в церковь ходят ей молиться, а у меня своя – никому не дам! Прошлый год прицепился ко мне этот паскудник, капитан Поликсингис: дай, мол, на время икону – копию снять. Как же, разбежался! «А ты, – говорю, – дашь мне на время свою кобылу?» «Что ты, – отвечает, – куда я без кобылы?» – «Так вот и я без Богородицы никуда!»

³⁶ Амбелиотиса – покровительница виноградников и виноделов (греч.).

На углу улицы, прямо за родником Идоменеаса, владелец таверны столкнулся с Фурогатосом и Бертодулосом, которые тоже спешили на пирушку. Встреча была такой внезапной, что Вендузос выронил и едва не разбил лиру, а с Бертодулоса слетела шляпа.

– Эй, Вендузос, чего летишь будто к чертям на сковородку? – спросил, опомнившись, Фурогатос. – Давай-ка присядем, выкурим по сигарке, надо же малость с духом собраться.

Усевшись на мраморную плиту у родника, приятели достали кисеты. Фурогатос – верзила с колючими усами и здоровенными, как у слона, ножищами, когда шел плясать, вся критская земля дрожала. За это и прощали ему люди его позор – то, что он терпит женины побои.

Бертодулос – чистенький, благообразный старичок с острым, гладко выбритым лицом и короткими нафабранными бакенбардами – вновь водрузил на седую шевелюру щегольскую шляпу с жесткими полями и поправил на плечах накидку. Это был первый в городе, а может, и на всем Крите человек, который, не убоившись ни Бога, ни людей, сбрил усы. Сначала критяне думали, что они у него просто не растут, но когда узнали, что он нарочно бреет бороду и усы, возмущению их не было предела. Неслыханно! И как у него только дерзости хватило нарушить обычай предков! Поди разбери, кто он такой – мужик, баба. На улице в него бросали камнями и гнилыми лимонами, друзья перестали с ним здороваться.

– Ну вот что, Бертодулос, мы, критяне, такого позора не потерпим! – бросил ему как-то в лицо Барбаяннис, подкручивая свои усищи. – У нас либо мужчин, либо женщин признают, а оборотней нам не надо!

А однажды в воскресенье, когда благодушный, улыбающийся Бертодулос с гитарой в руках чинно прогуливался по площади Трех арок, к нему подскочил пьяный Фурогатос и хотел спустить с него штаны – пускай люди убедятся, какого он пола: мужского или женского. Народ за него вступился, но Фурогатос и сам уже раскаялся – начал плакать, прощения просить у старика. С того дня Бертодулос и Фурогатос стали неразлучны.

На счастье свое, Бертодулос родился не на Крите, а на Закинфе. Поговаривали, будто он знатного происхождения, что в роду у него графья (настоящее его имя и в самом деле было граф Мандзавино), а он уж и сам не помнил, как очутился в Мегалокастро. К здешней жизни он притерпелся, учил этих дикарей играть на гитаре, одна беда – холодов боялся: и зимой и летом не снимал своей просторной зеленоватой накидки. Его веселый нрав, чудный выговор и гитара поначалу были здешним в диковинку, но понемногу Бертодулос растерял всех своих учеников: закинфские канцонетты под гитарный аккомпанемент пришлись критянам как корове седло. Бедняга Бертодулос голодал, ковылял по кофейням на своих кривых ногах и рассказывал о былом величии Закинфа, затем брал гитару и тихонько наигрывал какую-нибудь нежную старинную мелодию в надежде, что хозяин расщедрится и угостит его чашкой кофе, кусочком лукума с сухариком, а то и с померанцевым вареньем. Иногда он аккуратно заворачивал угощение в чистую бумагу и уносил с собой, потому что у него ко всему прочему была на иждивении одна дряхлая, беззубая вдова и совесть не позволяла ему лакомиться одному: бедняжка так любит сладкое, а для лукума, благодарение Богу, зубов не надо.

Однажды, когда Бертодулос рассказывал в кофейне Триалониса о Закинфе – цветке Востока, – куда никогда не ступала нога турка и где родился гимн «Узнаю клинок расплаты, полыхающий грозой»³⁷, его услышал капитан Михалис и подумал: «Этот как раз подходит для моих пирушек».

– Вот что я хотел тебе сказать, кир Бертодулос, – обратился он к старику. – Человек ты знатный, благородный, а живешь впроголодь. Это же позор для всего города. Я назначаю тебе

³⁷ Первые строки «Гимна Свободе», сочиненного поэтом Д. Соломосом (1798–1857), выходящем с острова Закинф. Положенный на музыку Н. Мандзаросом «Гимн Свободе» с 1864 г. является национальным гимном Греции. Цитируется в переводе А. Тарковского.

месячное жалование с одним условием: по первому моему зову ты будешь приходить ко мне в подвал на пирушку.

– С превеликим удовольствием, мой повелитель, – ответил граф и, сняв шляпу, склонил перед ним голову. – Отныне я твой раб, прославленный капитан Михалис!

А сейчас этот старичок зябко кутался в накидку и в сильном волнении ерзал на месте.

– Держись, Бертодулос! – повернулся к нему Вендузос. – На жестокую битву идем. Говоришь, на Закинфе родился гимн «Узнаю клинок расплаты...»? Нет, он родился в подвале у Михалиса.

– Ничего, кир Вендузос, пробьемся как-нибудь! Я на всякий случай подготовился. Вот! – И он предъявил друзьям какой-то сверток, зажатый под мышкой.

– А что это? – поинтересовался Вендузос.

– Смена белья, – объяснил бывший граф, славящийся своей опрятностью.

– Ну ладно, – вмешался Фурогатос, бросая сигарку. – Перекурили, и будет. Пора в лабиринт Минотавра. Да поможет нам Бог!

Взяв Бертодулоса под руки, приятели отважно зашагали к дому капитана Михалиса.

А возле мечети – бывшей церкви Святой Катерины – метался еще один приглашенный, Эфендина. Несмотря на почти нечеловеческие усилия, ему никак не удавалось перейти на другую сторону улицы, чтобы попасть в квартал, где жил капитан Михалис.

У Эфендины, совсем еще не старого человека, были выцветшие испуганные глаза навывкате и белая подстриженная бородка. На голове он носил огромную белоснежную чалму, которая после смерти должна была послужить ему саваном. В юности Эфендина совершил паломничество в Мекку; говорят, с тех пор он в уме и повредился – то ли от жары и невыносимой жажды, то ли от священного восторга. Вернувшись в Мегалокастро, он по примеру своего святого предка стал ходжей, тумакнами вбивал в турчат грамоту и сам частенько бывал бит. Однажды племянник Нури-бея проломил ему голову, на том его учительство и кончилось.

Жил он вместе с матерью в обветшалой хижине возле церкви святого Мины. Посреди двора была установлена мраморная плита – надгробье святого – с золотой арабской вязью и зеленым перевернутым тюрбаном, полинявшим от солнца и дождей. Здесь по пятницам собирались верующие, посасывали чубуки, пили кофе, сваренный матерью Эфендины, и бросали в тюрбан монетки и записочки с просьбами помочь им на этом и на том свете. Желанья у них были нехитрые: побольше еды да чтоб жена попалась несварливая. Если на земле это не сбылось, так пусть хоть в загробном мире им воздастся.

На восходе солнца Эфендина обычно усаживался на земле у могилы предка, поджав под себя ноги и положив на колени большой Коран. Сперва раскачивался, пока голова не начала кружиться, а достигнув необходимого состояния, принимался нараспев читать молитвы и плакать. Если погода была холодная, Эфендина то и дело вскакивал, поводил плечами, склонял набок голову и пускался в пляс, как одержимый дервиш, – это помогало ему согреться. А ближе к полудню, когда живот подводило от голода, он точно бесноватый бегал по двору в чалме и холщовых подштанниках. По улице проходили люди и глядели на него сквозь ограду; кто смеялся, кто пробовал его образумить:

– Побойся Аллаха, оглашенный! Смотрите, люди добрые, ему будто керосину в задницу налили!

– Да, я ношу в себе пламя, сосед! – с гордостью откликнулся он. – Пламя ношу!

Старуха мать держала Эфендину под строгим присмотром, но, если ему удавалось улизнуть на улицу, мальчишки-греки швыряли в него камнями, и бедняга в страхе пытался укрыться на противоположной стороне улицы, но вот улицу-то пересечь он как раз и не мог. Она казалась Эфендине глубокой рекой, а плавать он не умел, поэтому испуганно жался к стенам домов и ноги у него подкашивались.

Капитан Михалис всякий раз приглашал Эфендину на свою попойку: ему хотелось для разнообразия иметь и турецкого шута. Эфендине и радостно, и боязно было принимать приглашение. Он считал дни, месяцы в ожидании, когда прибежит к нему Харитос и шепнет на ухо:

– Привет от капитана Михалиса. Он приглашает к себе в подвал...

Наестся свинины, колбасы с белым хлебом, налакаться вина – Эфендина целый год мечтал об этом. Пророк запретил правоверным пить вино и кушать свинину, но разве есть у придурковатого Эфендины другие радости в жизни? Женщины ему даром не нужны, он их даже побаивается. Одна как-то с ним пошутила, сделав вид, будто его преследует, так с бедным турком сделался приступ: он катался по земле, и изо рта шла пена. Стало быть, одно у него в жизни утешение – два раза в год набить брюхо запретной пищей.

– Ты мне пригрози, капитан Михалис, – просил Эфендина. – Приставь нож к горлу и говори: «Ешь свинину, пей вино, а то зарежу!» Ведь ежели я все это съем и выпью по доброй воле, то Аллах мне не простит!

Вот он и ел, и пил, и сквернословил вопреки запрету Пророка, словом, за полгода душу отводил. А как напьется, давай рассказывать про своего «соседа» – так звал он святого Мину.

Каждую ночь он слышал, как святой выезжает на коне из церкви. Полумертвый от страха, забивался Эфендина с головой под одеяло, а утром отливал масло из лампадки на могиле деда, чтобы тайком подлить в лампадку святого Мины.

Восемь да еще восемь – шестнадцать дней в году городской дурачок ведет себя как настоящий мужчина: пьет, ест и ругается на чем свет стоит в погребке капитана Михалиса. Голова у него работает тогда, как часы, а не полыхает пожаром, в такие моменты он и улицу может спокойно перейти. Но что такое восемь дней – мелькнули, и нету. Едва он выходил из подвала капитана Михалиса, вновь начинались мучения будущего святого Эфендины.

В ночь перед пирушкой он никак не мог заснуть от возбуждения, а лишь только рассвело, вскочил, босиком прошмыгнул по двору, чтоб не услышала мать, и бегом на улицу. Миновал церковь Святого Мины, греческую школу, вот и мечеть. И тут ужас объял Эфендину: чтобы попасть к дому капитана Михалиса, нужно перейти на противоположную сторону улицы, перед ним вновь простиралась бурливая река, несущая деревянные обломки и валуны.

Эфендина прислонился к стене, вытер со лба пот и бросил взгляд сначала в одну, затем в другую сторону. На улице не было ни души.

О, Аллах, ну пусть здесь появится турок, или православный, или даже еврей – только бы помог мне переплыть эту реку! Там, на другом берегу, вино, свинина, колбасы, ну наберись же ты храбрости, ну прыгай!

Эфендина разбежался для прыжка, но, едва взглянув на мостовую, всякий раз шарахался обратно к стене. От этих бесконечных усилий он дышал тяжело, высунув язык.

Солнце заливало крыши и купола, из труб вился дымок, кудахтали куры. От церкви Святого Мины доносилось приглушенное, убаюкивающее пение псалмов.

Хоть бы один христианин в церковь пошел! Куда же они все подевались? Неужто мне, горемычному, так и маяться весь век на этом берегу?!

Эта мысль повергла Эфендину в ужас, из глотки у него вырвался вопль:

– Помогите, люди добрые!

На противоположной стороне улицы распахнулась дверь с тяжелыми бронзовыми засовами, и из дома вышел кир Харилаос Льондаракис, богатый меняла. Росточку он был карликового, но выступал, гордо выпятив грудь и высоко вскинув взлохмаченную бороду. Чтобы казаться выше, он носил ботинки на тройной подошве. Короткие волосатые пальцы сжимали трость с серебряным набалдашником в форме львиной головы. Поговаривали, что в роду кира Харилаоса были знатные венецианцы, и лев на башне был изображен на фамильном гербе.

Кир Харилаос, конечно, и не подумал прийти на помощь Эфендине: при виде сумасшедших, калек, прокаженных он никогда не упускал случая позлорадствовать – все-таки не его одного природа обделила!

– Эй, Эфендина! – позвал кир Харилаос. – Ну чего же ты медлишь? Давай-ка соберись с духом и беги сюда!

– Ради всего святого, кир Харилаос, переведи меня, дай руку! – умолял горемычный турок. – Видишь, у меня ничего не выходит! А я уже опаздываю к капитану Михалису!

Но тут на пороге появилась служанка Льондаракиса, арапка с красными мясистыми губами на черном, как чугунная сковорода, лице. Меняла питал к ней греховную страсть. По ночам, подставив скамеечку, он забирался на ее кровать в тщетной надежде совершить то, что делают в таких случаях все мужчины. А служанка от души забавлялась, глядя на его жалкие потуги. Она советовала ему каждое утро выпивать натошак сырое яйцо: дескать, тогда с Божьей помощью он обретет мужскую силу. И карлик, хватаясь за соломинку, послушно глотал сырые яйца.

– Хозяин, яичко-то забыл выпить! – смеясь, сказала арапка. – Вот держи, только что курица снесла.

Кир Харилаос вытащил складной ножик, проколол яичко с одного конца, затем с другого и, закинув голову, высосал его.

– Помоги мне, кир Харилаос, и Бог наградит тебя за доброту! – взывал Эфендина с противоположной стороны улицы.

– Еще чего! – фыркнул меняла. – Опять будешь свинину жрать. Ищи себе других помощников, греховодник!

– Ну смилуйся, прошу тебя! Подай мне руку!

– Грех, Эфендина, черти тебя заберут! – твердил карлик, поигрывая тростью.

– Пускай заберут, все равно пойду! Нет у меня в мире других радостей.

Аллах, наконец, сжалился над мытарствами убогого и явил ему старичка в деревянных сандалиях, который нес под мышкой корзину душистой врувы. Эфендина бросился к нему.

– Али-ага, ты самый добрый среди правоверных. У меня в голове огонь, под ногами вода, помоги мне их преодолеть!

Старичок, ни слова не говоря, взял Эфендину за руку и осторожно перевел на другую сторону. Затем, оставив мученика на обочине, пошел своей дорогой. «Что тут поделаешь? – думал он. – Аллах велик и всемогущ. Он может свиное мясо во рту превратить в баранину, а вино – в воду. Так что положишься на Аллаха, Эфендина».

Когда запыхавшийся он добрался до двора капитана Михалиса, остальные приглашенные уже спустились в чрево дьявола. Харитос сновал из кухни в подвал и обратно – носил закуски. Ноздри раздувались от бесподобных запахов. Снизу слышался звон кружек. Эфендина вдруг обессилел, голова пошла кругом, и он прислонился к дверному косяку. В ушах зазвучал гневный голос Пророка:

– Ну что, Эфендина Кавалина, продаешь душу за кусок свинины? Вспомни Мекку и тот черный камень, с которого я вознесся на небо. Вспомни своего предка, что семь дней и ночей в страшных муках умирал на минарете без воды и хлеба. А видел бы ты его теперь! Он сидит в пещере из плова, перед ним течет молочная река, на одном колене у него невинная прекрасная дева, на другом – златокудрый мальчик, и святой твой предок ласкает то деву, то мальчика и вкушает дары Аллаха! А ты, Эфендина, позоришь благословенный род, при жизни спускаешься в ад. Опомнись, ворота еще не захлопнулись. Беги отсюда прочь!

Весь сжавшись, Эфендина слушал глас Магомета, смотрел то на ворота, то на дверцу, ведущую в подвал, и в нем боролись противоречивые чувства.

– Как, ты еще здесь, Эфендина? – удивилась выглянувшая во двор кира Катерина. – Спускайся быстрее, а то прогневишь хозяина!

– Все уже на столе, кира Катерина?

– Давно, давай скорее!

– Стало быть, на то воля Аллаха, – пробормотал Эфендина, – раз он посылает ко мне киру Катерину. О, Всемогущий, я не могу тебе противиться, об одном молю: после свершения смертных грехов дай мне полчаса, чтобы покаяться. Мало, говоришь? Хватит! Я успею, только ты будь милостив.

Почти кубарем скатившись вниз по лестнице, Эфендина толкнул дверцу и вошел в подвал.

На высокой скамье, окутанный облаками табачного дыма, восседал капитан Михалис, мрачный, нахмуренный. У него над головой на гвозде висела плеть. С двух сторон на длинных скамьях расположились гости: по левую руку – Вендузос и Каямбис, по правую – Фурогатос и Бертодулос. Дубовый стол ломился от яств. Темно-красное вино искрилось в массивных кружках.

Вендузос положил на колени лиру, крутил ее, настраивал, то и дело прикладываясь к ней ухом. Бертодулос, так и не сняв своей накидки, самозабвенно жевал и запивал лакомства вином. Каямбис тоже налегал на угощение, но мыслями явно был далеко, возле молодой жены.

Капитан Михалис осушал кружку за кружкой, но алкоголь не приносил облегчения, наоборот, в горле оставался какой-то противный осадок. Он подносил ко рту кружку, а губы сами собой оттопыривались, будто отталкивая ее. Но он через силу вливал в себя вино, чтоб захлебнулась засевавшая у него внутри нечистая сила. Ни жена, ни война, ни сам Господь Бог не в силах укротить эту нечисть: она боится только спиртного, вот он и вступает с ней в яростную схватку, порой испуская дикие вопли, в которых слышится рев тигра, волка, вепря и самых далеких, поросших шерстью пращуров человека, некогда обитавших в пещерах Псилоритиса.

Но сегодня в него вселился новый бес – не зловонная, волосатая образина, а нежное, вкрадчивое существо, источающее аромат мускуса. Никогда еще капитан Михалис не испытывал подобного ужаса, никогда еще с таким безысходным отчаянием – словно терпящий кораблекрушение – не хватался за кружку...

При виде Эфендины капитан Михалис поднял голову. Под этим взглядом гость застыл на одной ноге, не решаясь поставить другую на ступеньку. Он хотел было поприветствовать хозяина, но не смог выдать ни слова: язык будто прилип к гортани.

Капитан Михалис молча указал на низкую скамейку против себя.

– Так что же сыграть тебе, капитан Михалис? – спросил Вендузос, поднимая глаза от лиры.

Тут из-за стола вышел Фурогатос, отодвинул скамейку ближе к стене, расчищая себе пространство. У него уже чесались пятки. Одних после вина клонит в сон, другим хочется смеяться, третьим – плакать, а этого верзилу тянуло в пляс. Размяв ноги, он если и не совсем трезвел, то, во всяком случае, в голове прояснялось, он чувствовал себя непобедимым, способным взлететь на воздух, как птица. А спустившись на землю, принимался пить, чтобы вновь обрести крылья.

Капитан Михалис медленно обвел глазами своих гостей, сверля каждого глазами. Понимая, что ни песни, ни танцы не развеют сегодня его тревоги, он задержал взгляд на Эфендине.

– Нет, хозяин, – встрепенулся тот, – не проси, чтобы я кувыркнулся перед тобой и ругал Пророка. Сперва заставь меня силой поест и выпить, чтоб я осмелел!

Его прервал Бертодулос, у которого язык уже развязался.

– Прославленный капитан Михалис, – начал он неторопливо и немного нараспев, – а не хотите ли послушать одну старинную венецианскую историю? Думаю, она вас развлечет. Я собственными глазами видел ее на сцене и с тех пор забыть не могу. Все беды и невзгоды меркнут перед страданиями Дездемоны...

– Кого-кого? – переспросил капитан Михалис, сдвинув брови.

– Дездемоны, высокочтимый капитан. Она была дочерью знатного венецианского вельможи, а полюбила мавра, который в порыве ревности ее задушил. Неужели вам не приходилось слышать эту историю? Все началось с платка...

Капитан Михалис сделал Бертодулосу нетерпеливый знак: заткнись, мол.

– Слышать не желаю никаких историй о женщинах!

Бертодулос сник, и трагедия венецианского мавра осталась недосказанной.

– Ну что, хозяин, прикажешь играть? – спросил Вендузос, взмахивая смычком.

– Играй, сатана! – процедил сквозь зубы капитан Михалис и прислонился к стене тяжелой, мутной головой.

Каямбис опрокинул кружку и утер губы. Фуругатос, впившись глазами в лиру, весь напружился и приподнял правую ногу...

Вдруг раздался страшный треск, дом содрогнулся, Бертодулос, чтоб не упасть, обнял винную бочку, с потолка посыпались айва, гранаты, дыни.

– Землетрясение! – завопил Вендузос, вскакивая на ноги.

Фуругатос на четвереньках пополз к двери. Каямбис всеми мыслями был в маленькой хижине на берегу моря со своей Гаруфальей. Эфендина упал навзничь и трясся как в лихорадке.

Наверху суетились и кричали женщины.

– Давайте откроем дверь и выйдем во двор, – чуть не плача, просил Фуругатос.

Капитан Михалис схватился за плетень, висевшую у него над головой.

– На место, трусливые черти!

– Но это землетрясение, капитан Михалис! – торопливо заговорил Фуругатос. – Человека еще можно побороть, а тут как...

Его слова заглушал грозный протяжный рокот из недр земли, заревел бык. Весь город содрогнулся; на церкви Святого Мины сами собой зазвонили колокола.

– О, Дионис, спаси меня! – взвизгнул Бертодулос и спрятал голову под накидкой.

Капитан Михалис огрел его плетью.

– Ни с места, говорю! Поднимите с пола Эфендину и поставьте на бочку! Землетрясение – что с того? Значит, наш Крит все еще жив. Вот так однажды утром он стряхнет с себя всю эту нечисть и присоединится к Греции.

Капитан Михалис даже повеселел. Ему вспомнилось, как давным-давно – он был совсем еще мальчишкой – страшное землетрясение разрушило почти всю их деревню. Люди метались, голосили, погибая под развалинами, и только его отец, капитан Сифакас, молча подпирал плечами притолоку до тех пор, пока не вышли из дома жена с детьми, а из хлева – две пары волов и серая кобыла. Затем стремительно шагнул вперед, и дом позади него рухнул. С тех пор капитан Михалис усвоил: настоящему человеку не страшны никакие землетрясения. Вот и теперь он спокойно наполнил кружки вином. Все выпили и тоже овладели собой.

А наверху тем временем поднялся страшный переполох. Люди с криками выбегали на улицу, рвали на себе волосы. Даже надменная старая дева Архондула выволокла со двора своего глухонемого брата и присоединилась к соседкам, позабыв о том, что знатное происхождение не позволяет ей якшаться со всяким сбродом.

В церкви, у золоченого резного престола, проповедовал митрополит. Зычный его голос разносился под сводами храма, так что верующим казалось, будто Христос вещает им сверху о Боге и о человеке.

– Дети мои! – гремел седобородый старец. – У нас нынче Великий Пост, скоро Страсти Господни! Трепещите и кайтесь! И наступит воздаяние за всю кровь, пролитую на кресте и на Крите! Да простит Господь меня и вас! – Он простер руки к своду, откуда на него, взыскавая правды, взирал Владыка небесный в огненном нимбе. – Доколе, Вседержитель, – возопил митрополит, – доколе будет на Крите литься невинная кровь?! Ведь уже и море рдеет от наших

берегов до самого Геллеспонта! Внутри у нас не дерево и не камень, ты вдохнул в нас живую душу, отчего ж столько веков попускаешь творимые над нами злодеяния?! – Старец на мгновение умолк, и вдруг, как бы в ответ на его речи, по церкви пронесся грохот, закачались паникадила, загудели колокола, хотя Мурдзуфлос давно уже отзвонил.

Толпа, обезумев, бросилась к выходу, началась давка. Митрополит окаменел от страха, глаза его, расширившись, так и остались прикованными к лику Спасителя. Наконец к старику подскочил Мурдзуфлос, обхватив сзади за пояс, стащил по ступенькам амвона и запасным ходом вывел во двор.

– Не волнуйтесь, владыко! – твердил звонарь. – Это землетрясение! Сейчас все пройдет!

– Боже, прости мне мой грех! – дрожащими губами бормотал митрополит. – Моя вина! Страсти Господни я подменил человеческими страстями.

Пока братья во Христе слушали проповедь, капитан Поликсингис успел побриться и, благоухая лавандой, в феске набекрень пошел прогуляться. Землетрясение застало его в турецком квартале. Он горделиво выступал в своих начищенных скрипучих сапогах и весь лоснился от самодовольства, напоминая сытого, холеного жеребца, которого выпустили на весенний луг. И снаружи, и внутри все у него было ладно скроено, безупречно пригнано, и ощущение здоровой мужской силы наполняло душу счастьем.

Жаль только, что молодость слишком уж быстротечна. Несправедливо! Почему нельзя быть молодым тысячу лет? Может, Господь Бог боится, что человек станет могущественнее его? И потому исподволь вероломно подтачивает человеческие силы? Сперва выпадают зубы, потом появляется дрожь в коленях, мутнеют глаза, подводят почки и желудок, и, наконец, взрослый человек начинает пускать слюни, как младенец. Нет, не смерть страшна – скажем, от пули, – а медленное умирание, когда год за годом превращаешься в развалину.

Поток его мыслей был прерван адским шумом: стали трястись двери, срывать с петель, во дворах слышались испуганные вопли и топот ног. Из-за какого-то угла выскочила толстая арапка Рухени с подносом, с которого в пыль и конский навоз сыпались кунжутные лепешки.

Капитан Поликсингис, с трудом сохраняя равновесие, оперся рукой о зеленые ворота Нури-бея. На лбу у него выступили капельки пота. Войны, старость, женское коварство – со всем этим еще можно как-то бороться... Но стихия неподвластна человеку: вот землетрясение – кто знает, под кем из людей внезапно развернется земля и поглотит его? Кого только встряхнет немного, и он двинется дальше, как ни в чем не бывало... Капитан Поликсингис замер в ожидании, прислушиваясь к вою обезумевших собак. Дневной свет помутился, из-под земли доносилось странное клокотание. Вокруг с треском гнулись кипарисы, рушились дома, минареты. В доме Нури-бея со звоном лопались стекла, гремела посуда.

Ворота вдруг распахнулись, и на улицу без паранджи выбежала простоволосая босая турчанка. Отчаянно вскрикнув, она упала без чувств посреди улицы. Над ней с причитаниями склонилась, подлетев и держа в руке красные сандалии, чернокожая служанка. Она дула на нее, обмахивала сандалиями, но госпожа лежала без движения, и лицо у нее сделалось восковым.

Капитан Поликсингис оживился и сразу позабыл о землетрясении.

– Эмине-ханум! – воскликнул он и, оттолкнувшись от стены, кинулся к лежащей женщине.

На его побледневших щеках снова заиграл румянец. Сколько раз в мечтах он рисовал себе образ этой прекрасной черкешенки, а тут она сама, во плоти и без паранджи, – видно, правду говорят: нет худа без добра.

Поликсингис так и впился глазами в Эмине, но разъяренная арапка тут же опомнилась и оттолкнула его.

– Не подходи, греховодник, это жена Нури-бея! – И она поспешно стала развязывать платок на шее у хозяйки, чтобы прикрыть ей лицо.

– Что ты делаешь, ведь она умрет, бедняжка, если не дать ей понюхать лаванды! – Капитан Поликсингис вытащил из кармана жилета флакончик, с которым никогда не расставался, время от времени сбрызгивая себя лавандовой водой.

Этот флакончик он теперь, встав на колени, поднес к носу черкешенки.

А земля тем временем уже встала на место, людские крики стихли, и привычная жизнь понемногу восстанавливалась. Даже собаки, успокоившись, перешли с воя на залиvistый лай.

Черкешенка глубоко вздохнула и открыла глаза. Увидев над собой незнакомого мужчину, снова вскрикнула и спрятала лицо в ладонях.

– Прочь отсюда! – разорялась арапка. – Сейчас явится Нури-бей! Убирайся подобру-поздорову, если жизнь дорога.

Но не до того было капитану Поликсингису, чтоб заботиться о своей жизни или смерти: он не мог оторвать взгляд от черкешенки, от ее черных, гневно блестящих глаз. Правда, почувствовав рядом прерывистое дыхание и мужской запах, Эмине быстро смягчилась и кинула на незнакомца из-под ресниц обволакивающий взгляд, затем обратилась к служанке:

– Кто этот гяур?

– Капитан Поликсингис, моя госпожа, – ответил он, опередив арапку. – Готов служить тебе, а эти духи оставь на память обо мне.

Но черкешенка, опять вспыхнув негодованием, швырнула ему флакончик прямо в лицо и вскочила с земли.

– Ухожу, ухожу! – покорно сказал капитан Поликсингис. – Не гневайся.

– Что, испугался? – засмеялась Эмине.

– Кого?

– Нури-бея?

– Нет, моя госпожа, никого я в целом мире не боюсь, кроме тебя. Прикажи – и я умру вот здесь, у твоих ног, клянусь честью! – Но тут же пожалел о своих словах. – И все-таки, даст Бог, мы еще свидимся с тобой на этом свете. Да-да, Эмине-ханум, – он упрямо тряхнул головой, – помяни мое слово, свидимся!

Черкешенка смерила его пристальным, оценивающим взглядом. Капитан Поликсингис заложил руки за пояс и стоял не шелохнувшись, словно ожидая приговора.

Эмине-ханум спокойно, не торопясь прикрыла лицо снятым с шеи прозрачным платком и проговорила:

– Мой Бог не любит греков.

– А мой Бог милостив и щедр, – ответил капитан. – Он любит черкешенок.

На улице уже звучали голоса, отворялись двери; вдалеке показались два турка. Арапка схватила госпожу за пояс и потащила во двор. Зеленые ворота резко захлопнулись за ними.

А капитан Поликсингис все никак не мог сдвинуться с места.

– Пропал... погиб... – шептал он. – Вот это женщина! И во сне не видел красоты такой. Ах, гореть мне в геенне огненной!

Безумными глазами он посмотрел вокруг себя. Внезапно все предстало в ином свете: улицы, дома, лица людей... Разноцветным ковром, на котором вытканы кварталы, минареты, бастионы, морские валы, у ног его раскинулась Мегалокастро.

Неверными шагами капитан Поликсингис пошел по этому ковру. С трудом притащился домой, едва растворил дверь, как на него мешком свалилась толстуха сестра. Она все еще не могла опомниться после происшедшего – мощные тела колыхались, голос срывался. Однако ей очень хотелось поведать брату о пережитом волнении.

Капитан Поликсингис отстранился, прошел в комнату, бросил феску на диван. Ему было душно. Сестра следовала за ним по пятам.

– Оставь меня в покое! – рявкнул он. Хлопнув дверью, вышел во двор. Сам не понимая, что делает, сорвал какой-то цветок и тут же смял его.

Кира Хрисанфи от обиды залилась слезами.

– Да за что ж ты со мной так, Йоргис! – причитала она. – Ведь я всю жизнь души в тебе не чаю, молодость тебе свою отдала. Только что ковром перед тобой не стелилась! Оттого и замуж не вышла, без детей осталась, лишь бы ты был всегда ухаживаемый, лишь бы тебе было хорошо. Чем же я тебе не угодила...

Сквозь слезы она все посматривала во двор, не раскаялся ли брат, не собирается ли попросить прощения, приласкать, сказать, что ближе нее нет у него на свете человека...

Но Поликсингис неотрывно глядел на улицу. Видя, что он не обращает внимания на ее плач, Кира Хрисанфи решила прибегнуть к другому средству: испустила отчаянный вопль и свалилась без чувств на пороге.

Брат нехотя обернулся, подошел, поднял ее, уложил на диван, но она и не шевельнулась, будто мертвая. Тогда он принес из кухни бутылку винного уксуса и обильно смочил ей виски, шею, грудь. Кира Хрисанфи не выдержала, открыла глаза и, увидев склонившегося над нею брата, едва не обезумела от радости. Вытянув полные руки, она обхватила его за шею.

– Милый мой, милый Йоргис! – шептала она и все крепче прижималась к нему, смеясь и плача. – Скажи, ведь ты меня любишь, правда? Ну скажи хоть одно ласковое слово!

– Хочешь, сварю кофе – сразу полегчает, – лениво отозвался он.

Кира Хрисанфи в волнении расстегнула кофту.

– О, я несчастная! – вскрикнула она. – Ты даже не хочешь мне ответить!

Кира Хрисанфи опять закатила глаза, собираясь разыграть новый обморок, но брат опередил ее:

– Я люблю тебя, Хрисанфи, люблю, давай поднимайся!

У той лицо мгновенно просветлело. Она застегнула кофту и, кряхтя, встала с дивана. Прошла по комнате, подобрала волосы, привела себя в порядок, даже чуть-чуть подушилась; при этом краешком глаза все время следила за братом. Какой же он у меня красавец, думала она, век бы любовалась! Эх, не будь мы брат и сестра, какие бы славные детишки у нас родились! От этой мысли она смутилась и покраснела.

– Сгинь, сатана! – пробормотала женщина и, отгоняя нечистые помыслы, бросила несколько угольков в бронзовую кадильницу, затем трижды перекрестилась и фимиамом освятила комнату.

Пирушка в подвале была в самом разгаре. Около полудня Риньо украдкой глянула в окошко – посмотреть, что там вытворяют отцовские шуты.

Фуругатос снял сапоги и крутился в пляске. По лицу было видно, что он мертвецки пьян. Подпрыгивая, он ударялся о потолок и уже так рассадил башку, что кровь текла по шее. Но от этого ему, должно быть, стало только веселее. Эфендина, потеряв всякий стыд, скинул чалму и прислонился плешивой головой к винной бочке. Каямбис, нагнувшись, совал ему за уши листья артишока. Вендузос мужественно доедал яйца из глиняного горшка вместе со скорлупой. А несчастный Бертодулос забился в угол, за кувшины с зерном, и, раскорячив тощие ноги, совал в рот пальцы, чтобы вызвать рвоту. Накидку он подобрал, боясь запачкать. Время от времени он оборачивался к собутыльникам и униженно кланялся им.

– Извините меня, доблестные капитаны, – говорил он нараспев, – извините...

Риньо с любопытством смотрела на дармоедов, которые собрались здесь потешать отца. А тот сидел молча, устремив взгляд в пустоту, и казалось, хмель его не берет. Только изредка он как-то уж очень зловеще скалил зубы, и черные усы еще больше топорщились.

Риньо снова почувствовала гордость за отца. Вот таким суровым, молчаливым, надменным и должен быть настоящий мужчина. Как жаль, что она родилась девчонкой! Если не попадется такой жених, то и замуж не стоит выходить.

Совсем недавно город был на краю гибели, а теперь снова все спокойно. Нежно-розовые лучи закатного солнца окрасили все вокруг. Суровая крепость словно купается в счастье.

К Трем аркам, как муравьи после дождя, тянутся горожане, избегнувшие смертельной кары. Господь уберег их и на этот раз, не дал пасть в бездну, слава ему! Люди радостно улыбаются, здороваются друг с другом, снимают шляпы, тепложимают руки. Недавно пережитые страхи объединили их в этот вечер, всем захотелось пройтись, поглядеть на море, как будто оно не маячит целый день у них перед глазами, вдохнуть сладкий, пьянящий аромат цветущей жимолости.

- Что за растение такое?
- Обыкновенная жимолость.
- Чудны дела твои, Господи!

После прогулки люди, как правило, заворачивали в кондитерскую Леонидаса Бабалароса. Усаживались, хлопками подзывали стройных босоногих официантов. Заказывали кто вишневый напиток или газированную воду, кто постные булочки на виноградном сусле. Мальчишки-турчата торговали возле Трех арок семечками и букетиками жасмина. Вот, как лоснящийся вороной конь, выплыла арапка Рухени. Она успела отчистить вываленные в навозе кунжутные лепешки и теперь громким голосом предлагала свой товар, призывно покачивая бедрами, сверкая белозубой улыбкой.

Эта Рухени всегда такая веселая, будто солнышко, думали горожане, улыбаясь ей в ответ.

А солнце быстро ускользнуло за вершину Струмбуласа, и Мегалокастро погрузилась в сиреневые сумерки.

До чего же красивы в этот час горожанки! Гуляют, разодетые, у Трех арок, сидят в кондитерской, лузгают семечки, обмахиваются веерами, перемывают косточки прохожим.

Вот шествует Сиезасыр со своей невестой Вангелью. Их сопровождает кира Хрисанфи, красиво причесанная, напудренная, в шляпке. После недавней встряски она успокоилась и вышла погулять с племянницей и ее женихом к Трем аркам.

Куда ей до меня! – думала старая дева, искоса поглядывая на Вангелью. И лицом не вышла, и фигурой. Бедняге Сиезасыру и ухватиться не за что. Зато она замуж выходит, а я одна как перст, хоть и все при мне. Да нет, почему одна? У меня братец есть, и никого больше мне не надо!

Неторопливым шагом прошел в одиночестве рябой директор начальной школы Патерас. Это он ввел в обучение новый предмет – природоведение. С учениками он обходится жестоко – стегает их розгами до крови. Достается от него и единственной дочери Аннике – девице на выданье. Он держит ее взаперти и слышать не хочет о женихах.

– Не допущу падения нравов в собственном доме! – заявляет Патерас.

У него даже куры не несутся, потому что он не держит петуха. А если к его кошке приближаются окрестные коты, он приходит в ярость и гоняет их камнями.

– Разврат, кругом разврат! – твердит этот блюститель целомудрия.

Вот и сейчас он зорко следит, не мелькнет ли в воскресной толпе кто-нибудь из учеников, чтоб назавтра как следует всыпать ему розгой. Сиезасыр, заметив начальника, срывает с головы шляпу и низко кланяется.

Вышел на люди и лекарь со своей француженкой. На нем котелок, привезенный из Парижа, черные перчатки, в руке трость. От жира едва не лопаются, а высокомерия на десятерых хватит. Марсель напудрена и накрашена сверх меры: бедняжка надеется таким образом скрыть свой болезненный вид. Но женщины глядят на нее неодобрительно: ишь размалевалась как примадонна, курам на смех! Поделом ему, этому борову: впредь не будет на заморское зариться, лучше лаганный башмак, да свой...

В небе над городом показалась пара аистов. Они свили гнездо на крыше небольшой красивой мечети – бывшей византийской церквушки – неподалеку от Трех арок и сейчас возвра-

щались с охоты на реке Картерос, что протекает за Зловещей скалой. Осенью эти священные птицы устремлялись на юг, в сторону Мекки, подобно ходжам-паломникам, а каждую весну прилетали обратно в родное гнездо. Люди в праздной толпе задирали головы, чтобы полюбоваться на величавых белых птиц, проплывающих в небесной вышине, указывали на них пальцами, а те продолжали свой путь на фоне темнеющего моря, не устаивая и взглядом этих глупых болтливых двуногих. Вскоре морских волн совсем не стало видно. Скрылся в тумане на горизонте и остров Диа. Налетевший ветерок обдувал лица и трепал волосы; у женщин отпала надобность в веерах. Прошла с гармоникой веселая компания мальтийских рыбаков. Из-под расстегнутых рубах выглядывают загорелые волосатые груди, в ухе у каждого серьга. Мальтийцы не гуляют с местными девушками: на пристани, среди разложенных рыбацких сетей и корзин для рыбы, их поджидают землячки – туда они и направляются, хрипло распевая во всю глотку. Сумерки – пора ухаживания. Парни смеют, бросают на девушек долгие многозначительные взгляды. В глазах и в душах разгорается горячая страсть. И как ей не разгореться, когда с одной стороны горы, с другой – бурное море, а сверху бездонное темно-синее, словно бархатное, небо! Да к тому же на нем начинается любовный танец первая вечерняя звезда.

В это время четверка приятелей под предводительством Трасаки направлялась к Перволе, огромному запущенному саду на окраине Мегалокастро. Трасаки обвязался веревкой, Манольос запасся увесистой палкой, Андрикос обломил себе прут, а у Николаса в кармане лежал самодельный свисток.

– Если покажется ее отец, – объяснил он, – я вам свистну, и вы сразу удирайте!

– Послушай, Трасаки, – спросил Андрикос, – а с чего ты взял, что Первола так и дожидается нас на крыльце?

Перволой они прозвали дочь цирюльника Параскеваса, толстушку и хохотунью.

– Сказано тебе, она каждое воскресенье расфуфырится и стоит на крыльце, – отозвался Трасаки. – Ну-ка, Николас, достань свисток. Он будет у меня, потому что я – ваш капитан, а ты возьми веревку. Как свистну – все на нее бросаемся. Айда!

Дома на их пути становились все беднее и все дальше стояли друг от друга. В этом квартале жили самые нищие турки и армяне. Армяне в больших каменных ступах толкли кофе на продажу. Турки работали грузчиками в порту или где придется.

Стайка ребят приближалась к цели. Возле садовой ограды они, замедлив ход, крадучись пошли друг за дружкой. Трасаки замер на месте, увидев толстую и уже несколько перезрелую девушку с красной лентой в волосах. Она стояла на пороге и жевала мастику.

– Тихо! Вот она! – сдавленно прошептал Трасаки. – Налетаем по моему свистку. Только по-быстрому, пока вокруг никого нет.

Мальчишки бесшумно подобрались прямо к толстухе. Первола их не заметила: она увлеченно смотрела, как неподалеку кошка любезничает с котом. Приготовившись к нападению, Трасаки напоследок оглядел улицу – ни души. Затем пронзительно засвистел и кинулся к девушке. Приятели, улюлюкая, последовали за ним. Трасаки, Николас и Андрикос ухватили Перволу за ноги и за руки, а Манольос тем временем зажал ей рот, чтобы не визжала. Кряхтя от натуги, они подняли тяжелую тушу.

– Несем в сад! – скомандовал Трасаки. – Крепче держите, а то вырвется!

Они с трудом смогли втащить свою ношу в полуразрушенные ворота и тут же, задыхаясь, бросили ее на траву. Красный бант на голове у Перволы развязался, волосы растрепались, а юбка задралась, обнажив ляжки. В вырезе кофточки виднелись груди, как туго надутые мячи. Поначалу девушка испугалась, но затем, рассмотрев своих похитителей, игриво закатила глаза, захихикала.

– Что бы нам с ней такое сотворить? – произнес Николас.

Мальчишки долго готовились к этому похищению, а теперь, когда жертва лежала перед ними, растерялись.

– Давайте плевать в нее? – предложил Манольос.

Но этого им явно показалось мало.

– Лучше хорошенько ее отдубасим! – крикнул Андрикос и взмахнул прутом.

Все бросились бить Перволу, чем попало; несчастная вопила, извивалась на траве, но подняться под этим градом ударов не могла.

– Ногами, ногами ее топчите! – подзадоривал дружкой Трасаки.

Мучители устали, запыхались, но полного удовлетворения ни один не получил. Все лихо-радочно думали, какому новому истязанию подвергнуть жертву, чтоб душа их наконец-то натешилась. Может, схватить ее да грохнуть оземь?.. Ненависть к Перволе становилась все острее, оттого что долго копившаяся энергия не находила желанной разрядки.

– Вот дурачье, нож с собой не взяли! – сокрушался Трасаки. – Сейчас бы пустили ей кровь, и дело с концом!

– Дайте я откушу ей кусок мяса! – разошелся Николас.

– Точно! – обрадовался Трасаки. – Каждый по куску отхватит.

Девушка от ужаса завизжала, как корова на бойне.

– А ну-ка свяжем ее, а то, не ровен час, убежит! – сказал Андрикос.

Они дружно схватились за веревку, но их остановил громкий окрик, донесшийся со стороны ворот:

– Ах вы, паршивцы!

У входа в сад стоял цирюльник Параскевас с метлой в руке. Вчера, как и всякую субботу, у него был тяжелый день: он постриг и побрил чуть не полгорода и смертельно устал, поэтому сегодня целый день отсыпался. Нигде на свете нет таких тупых бритв и такой жесткой щетины, как на этом проклятом острове!.. Сквозь сон услышал цирюльник крик дочери. Он спрыгнул с кровати, схватил метлу и в одних подштанниках бросился на улицу.

– Ах, паршивцы!

Он старался, чтобы голос звучал устрашающе, и грозно размахивал метлой, но вдруг язык будто присох к гортани. Среди этих сорванцов кир Параскевас узнал сына капитана Михалиса.

Тут поосторожней надо, мелькнула мысль, как бы не влипнуть в историю! Он все еще махал метлой, но уже тише и не двигался с места.

– За мной! – приказал Трасаки своей шайке, затем повернулся к Параскевасу. – Отойди, кир Параскевас, дай нам дорогу!

– Проходите, ребята! – примирительно отозвался цирюльник и бросил метлу.

– Пошли! – крикнул Трасаки. – Да не бойтесь вы его, он же с Сироса!

Четверка маленьких разбойников гордо прошеествовала мимо Параскеваса. Трасаки напоследок оглушительно свистнул.

– В другой раз прихватим с собой нож! – пригрозил он Перволе, которая встала с земли и, плача, отряхивала юбку.

Глава IV

Как мудро все устроено в этом мире! Шесть дней трудишься, приумножаешь свое добро, седьмой отдай Господу Богу, а он тебя за это накормит и напоит! Настал понедельник, и жизнь пошла своим чередом. Добрые и богобоязненные горожане забыли о землетрясении, о Боге и рьяно принялись за обычные дела мирские – кто кого перехитрит.

Взошло солнце. Низами большими ключами открыли ворота. Крича и толкаясь, двинулись в город крестьяне, таща навьюченных мулов и ослов за поводья. Закипела работа в порту. На площади шла бойкая торговля. В цыганских кузницах полыхали горны и стучали молоты. Глашатай зычно объявил на весь город, что мясник Исмаил только что зарезал теленка – спешите покупать! Мясо нежное, сочное, так во рту и тает, как лукум.

Сапожники на Широкой улице заняты своим делом, однако не упускают случая позубоскалить над проходящими возле их окон калеками и придурковатыми: со смехом да шутками работа спорится.

Опираясь на кривую палку, хромот в дол по улице капитан Стефанис. Он прослышал, что вчера с Сироса прибыло торговое судно его приятеля, капитана Якумиса, и теперь торопился узнать, как дела в Греции, скоро ли король позаботится о присоединении Крита. К тому же на Сиросе действует критский повстанческий комитет: собирает деньги, закупает оружие. Рано или поздно вспыхнет опять на Крите восстание! Иначе быть не может! Капитану Стефанису не терпелось пригласить друга в таверну и разузнать о последних новостях.

Кто-то из сапожников свистнул, подавая сигнал остальным. Все разом подняли головы и скривились: поди сразись с таким бравым воякой – себе дороже выйдет. Недавно кто-то из подмастерьев осмелился отпустить шутку в адрес капитана Стефаниса, так тот отдубасил его палкой чуть не до смерти.

– Щенок! – кричал он. – Над старым солдатом вздумал насмеяться! Да знаешь ли ты, где получил я свои раны! Спроси всякого, тебе скажут – где! Бесстыжие твои глаза, теперь я надолго отучу тебя ухмыляться!

Даже хозяин не рискнул вступить за своего парня, наоборот, еще подзадоривал старого капитана:

– Молодец, капитан Стефанис! Герой, критский Мьяулис³⁸. Поделом, всыпь ему хорошенько!

С тех пор сапожники побаивались капитана Стефаниса. Вот и теперь притихли, опустили головы, когда он проходил мимо.

– Да, крепкий орешек, – вымолвил один из них, как только Стефанис отошел на приличное расстояние. – Лучше с таким не связываться – поломаешь зубы!

Из-за угла появилось новое лицо – карлик Харилаос с тросточкой в руке, с черными закрученными усами, в башмаках на тройной подошве. Постукивая палкой, он ковылял по мостовой, а сапожники почтительно прикладывали руку к груди, приветствуя его.

Этот Харилаос хоть и убогий, а его люди тоже уважают и боятся. Матери пугают им непослушных детей, словно он не человек, а сам дьявол или чудовище, стерегущее под землей золото. Поговаривали, что Харилаос водится с нечистой силой, на кого взглянет, тот мгновенно желтеет и пухнет, точно от змеиного укуса. Как-то раз посмотрел на пышное лимонное дерево в саду Архондулы, и в тот же миг листья пожухли и свернулись. Вот почему сапожники, все как один, склонили перед карликом головы.

³⁸ Мьяулис, Андреас (1769–1835) – греческий адмирал, прославившийся своими подвигами в период национально-освободительной революции 1821 г.

– Плохо, черт возьми, день начинается, ребята, неужто и не повеселимся сегодня! – вздохнул заводила подмастерье. – Где Эфендина, где Барбаяннис, сквозь землю они провалились что ли?

– Да вот он, Барбаяннис! – откликнулся другой. – Легок на помине!

Все обрадовались, повскакали с мест. И действительно, на горизонте замаячила блестящая лысина горемыки Барбаянниса. В одной руке он держал медный кувшин, в другой – блюдо со льдом и хриплым тягучим голосом расхваливал свой салеп.

Сапожники мгновенно приготовились исполнить спектакль, в котором заранее распределены роли. Вот уж над кем можно поиздеваться всласть. «Эй, жена, признайся, ради Христа, наши дети все от меня? – начнет один. – Ну скажи, не бойся, видишь, ведь я помираю!» А из мастерской напротив ему отзовется тоненький женский голосок: «А ну как не помрешь?» Вся Широкая улица задрожит от громового хохота, и в беднягу посыплются гнилые лимоны. Но главный насмешник, похоже, на этот раз выдумал что-то новенькое.

– Послушайте, ребята, – объявил он, – к нашим шуткам Барбаяннис уж давно привык, только и ждет их... Так вот что я предлагаю: он пойдет мимо, а мы ни гугу, будто его и не замечаем. Поглядим, какая рожа у него будет! Согласны?

– Согласны! Согласны! – загудели сапожники.

Барбаяннис приближался, опасно поглядывая налево и направо и явно ожидая привычных шуток. Но что такое? Эти зубоскалы даже глаз не подымают, словно его тут и нету! Как же это – ни свиста, ни хохота, ни гнилых лимонов! Выходит, Барбаяннис заслужил не больше внимания, чем выучный осел или бродячая собака!

– Братцы, вы никак меня не признали, а? Это же я, Барбаяннис, что молчите, будто воды в рот набрали?

Тишина. Сапожники сосредоточенно резали кожу, вошили дратву, вдевали ее в иголки, шили. Барбаяннис опустил на землю кувшин и блюдо, испуганно протер глаза – может, все это ему снится?

– Братцы, ради Христа, скажите хоть что-нибудь, – взмолился он. – Где же ваши гнилые лимоны?

Но опять никто не отозвался.

– Сжальтесь, милые! Покажите мне, что я еще не покойник, а то, ей-ей, взаправду помру! Глас вопиющего в пустыне!

– Ну, все! – прошептал Барбаяннис, обливаясь холодным потом. – Конец света! Стало быть, я уже в царстве мертвых! Ой, ноженьки, выносите меня отсюда! – Он проворно подхватил свой товар и пустился бежать, что было мочи.

И только тогда раздался на притихшей улице взрыв хохота. Мастерские стонали, держась за животы, улюлюкали вслед несчастному Барбаяннису.

Оглушительный хохот докатился аж до ушей митрополита. После вчерашнего кошмара он слег с простудой, и теперь Мурдзуфлос лечил его – ставил банки, делал припарки, растирал ракией.

– Что за шум? – обеспокоенно спросил митрополит, приподнявшись на локте. – Уж не начинается ли опять землетрясение, спаси, Господи!

– Да нет, владыко, – ответил звонарь. – Это, верно, сапожники новую забаву себе нашли. Креста на них нет! Тут хоть весь мир лети в тартарары, а этим жеребцам все нипочем – дай только зубы поскалить! Продолжай, владыко, не слушай проклятых греховодников.

Митрополит рассказывал Мурдзуфлосу о Киеве, где он много лет служил архимандритом, о снегах, о золоте церковных куполов, о подземном монастыре, где покоятся святые мощи.

– Пока на свете есть Россия, нам не о чем тревожиться, Мурдзуфлос. Православная вера не угаснет – она будет жить и править миром. Христос теперь там обрел свое пристанище. Знаешь, однажды мне довелось лицезреть его. Было это в середине зимы, ближе к вечеру. Шел

снег. А Спаситель наш брел в тулупе, валенках, меховых рукавицах по улице и стучался во все двери. Но никто ему не отворил. Я выглядываю в окно, сбегая по ступенькам, кричу: «Господи всемогущий!..» А его и след простыл.

Мурдзуфлос перекрестился.

– Вот бы и мне его увидеть!

– Поезжай в Россию – увидишь, – ответил митрополит и отвернулся к стене: сон одолевал его.

Паша нынешним утром встал с левой ноги. Уже три дня был он сам не свой, потому что вдруг почувствовал, как подступает к нему старость. Вот недавно сидел он в своем дворце на площади Трех арок, покуривал кальян и слушал оркестр низами. В толпе греков на мгновение мелькнула молодая женщина: красное платье, густые волосы, яркие чувственные губы. Огонь полыхнул в сердце паша, и кликнул он своего сеиза³⁹ Сулеймана.

– Кто эта гречанка в красном?

– Она не здешняя, повелитель. Ее привез из деревни торговец Каямбис, тот самый, что так славно поет, и обвенчался с нею в прошлое воскресенье. Забудь о ней, мой повелитель, не пара она тебе.

– Не пара! А все ж таки хороша, бестия!

– Хороша, повелитель, хороша, да что толку?

– Вот именно, что толку! – ворчливо бормотал паша, качая лысой головой. – Видно, и впрямь стар я стал, немощен. Прежде-то я и казнил и обнимал кого пожелаю. А теперь?.. Одно название, что паша! Прошли те времена, когда я посылал в любую греческую деревню своего стражника и предлагал новобрачным на выбор: либо яблоко невесте, либо пуля жениху. Куда ж им было деваться – выбирали яблоко! И в тот же вечер приводили мне невесту – хоть и заплаканную, но готовую на все... Мда, а ныне что?.. Я старик, нету мне былого почета, а Крит, чтоб ему пусто было, как стоял, так и стоит! И всех нас переживет, пожалуй. Как думаешь, Сулейман?

– Ты прав, мой господин. С Критом шутки плохи. Потому я и говорю: лучше выбрось из головы эту гречанку. Чего вздыхаешь? Может, Марусю тебе привести?

Армянка Маруся была известной личностью в Мегалокастро. О ней даже песню сложили. Ее муж, верзила армянин, торговал в лавчонке на площади. Своими мощными, под стать ляжкам, ручищами день-деньской толлок кофе в каменной ступке, и от этого вокруг разливался восхитительный аромат. Дай этому силачу волю, он своей толкушкой мог бы и стену повалить. А жена, толстая, приземистая самка, тоже времени даром не теряла. К ее маленькому домику на окраине стекались турки, греки, армяне, евреи со всего города. И никому не было отказа. В расстегнутой кофте Маруся встречала гостей на пороге и вела в дом, вихляя бедрами и плотоядно улыбаясь. А глубокой ночью, когда усталый от дневных трудов муж засыпал, у нее опять же от посетителей не было отбоя. Причем Маруся нарочно оставляла открытой дверь в соседнюю комнату, где храпел армянин: присутствие мужа, должно быть, добавляло остроты ощущениям от объятий чужих мужчин.

Вот эту-то армянку и приводил к паше Сулейман, когда тот бывал не в духе. Придет Маруся, повертит задом, и дурного настроения паша как не бывало!

– Ну так что, послать за армянкой? – переспросил Сулейман.

– Катись ты ко всем чертям вместе со своей армянкой! – рявкнул паша. – От этих баб одни беды! Тьфу! Вот уж седьмой десяток я с ними валандаюсь, а толку что? Лишь состарился раньше времени. Так как, ты говоришь, ее зовут? Ну, эту, в красном?

– Гаруфалья.

Паша снова сплюнул.

³⁹ Слуга, всадник, конюший (*тур.*).

– Скажи-ка Барбаяннису, чтоб зашел вечерком посмешить меня. Ох, до чего тяжело на сердце! И Эфендина пускай придет.

Паша постучал кальяном о каменный парапет, выбивая пепел.

– Да, постарел я, как Труция, эта трусливая зайчиха, – с грустью пробормотал он. – Да простит мне Аллах, с каждым годом она все больше поджимает хвост! – Паша повернулся к сеизу и протянул ему кальян. – На, набей и раскури!

По площади проехал чернобородый, свирепый на вид всадник в надвинутом по самые брови платке. Нахлестывая кобылу, он устремился к Лазаретным воротам.

– Эй, Сулейман, кто этот гяур? – нахмурился паша. – Не много ли в нем гонору? Кажется, я его уже где-то видел.

Сулейман задумчиво провожал глазами черную фигуру на коне и замешкался с ответом.

– Ты что, оглох? – взъярился паша. – Я тебя спрашиваю!

– Разве ты забыл, мой повелитель, как в прошлом году призвал его к себе и выбранил за то, что он забросил на крышу Нури-бея? Он тогда и слова тебе в ответ не сказал, но, уходя, чуть было не вырвал со злости решетку на лестнице.

– Капитан Михалис! – воскликнул паша. Потом помолчал, что-то обдумывая, и объявил. – Вот что, Сулейман, ты должен помериться с ним силой здесь, у Трех арок, перед всем честным народом. Надо показать этим неверным, что Турция еще способна держать их в узде, понял?

Сулейман опять не ответил, но лицо его пожелтело, а глаза налились кровью.

Паша махнул рукой, и оркестр умолк.

– Я вижу, ты боишься этого гяура, Сулейман. Знай, власть наша долго не продержится, если мы будем их бояться.

Больше паша к этому разговору не возвращался, но из головы у него не выходили гречанка в красном платье и Турция, поджавшая хвост, как зайчиха.

В понедельник он вскочил ни свет ни заря. Недобрый сон ему привиделся: будто бы посреди площади, словно разъяренные звери, вступили в схватку капитан Михалис и Сулейман. Оба голые, тела смазаны жиром, у каждого в руке топор. И глядела на них вся Мегалокастро: на солнечной стороне – греки, напротив, в тени, – турки. Глядели молча, будто воды в рот набрали. Лица у всех бледные. А сам он будто сидит, подобрав ноги под красным тентом, сердце у него дрожит как осиновый лист. В тишине раздаются крики глашатая: «Если победит капитан Михалис – конец турецкой власти! Если Сулейман одержит верх – не видать свободы христианам!»

Борьба была долгой, земля проваливалась под ногами у дерущихся, и эти ямы тут же наполнялись кровью. Солнце село, темнота окутала площадь, и паша ничего уже не мог разглядеть, кроме двух чудовищных теней, которые с яростным рычанием катались по земле, сдирая друг с друга кожу топорами... Леденящий ужас сковал пашу. «О Аллах, ведь это только сон! Не дай мне увидеть конец этой схватки! Вот сейчас, сейчас я закричу и проснусь».

Он проснулся от собственного крика. Сел на мягкой, набитой шерстью перине. Голова тяжелая, клонится набок. Пот градом катится по лицу. Хлопнул в ладоши – в спальню вошел Сулейман.

– Ступай и приведи ко мне капитана Михалиса!

Он пока и сам не знал, что скажет капитану Михалису. Но все-таки пусть придет, размышлял паша. Вдруг да и не удержится, разгневает меня, вот тогда и посмотрим... А то нос задирать стал – скачет, видите ли, на коне, мешая повелителю слушать музыку!..

– Капитана Михалиса? – переспросил сеиз и почесал в затылке. – Но, я слышал, он нынче занят – пирует с гостями у себя в подвале.

– Скажите какое важное занятие! Пирует! Ничего, когда господин требует, можно и отложить пирушку.

Сулейман в нерешительности потоптался на месте.

– Что, мой повелитель, разве пришел фирман из Стамбула?

Паша с усилием приподнял голову.

– Нет. А почему ты спрашиваешь?

– Да потому, что, если я выполню твой приказ, быть беде. Ты ведь знаешь, что это за человек! Помнишь, как в прошлом году он избил до полусмерти твоих низами? А потом чуть было не свалил ворота в порту? Когда он напьется, с ним лучше не связываться! Если же ты силой или хитростью убьешь его, весь Крит всколыхнется. Поэтому, повелитель, разумнее будет выбросить его из головы.

– Ну да, одного выбросить, потому что он смельчак, другую – потому что она замужем! Кто я, в конце концов – паша или нет?!

Он сердился, но и самого одолевали сомнения: ежели опять взбунтуется этот треклятый остров, надо будет снова требовать войска с Востока, а к ним пушки да колья, чтоб сажать неверных... Поди, Европа опять вмешается, чтоб ей пусто было. А там, чего доброго, нового пашу пришлют на мое место. Так что, пожалуй, только хлопот себе на голову наживешь!

– Свари-ка мне кофе покрепче и кальян набей. – Паша вдруг в сердцах дернул себя за ус.

– А как же капитан Михалис? – спросил сеиз.

– Пусть катится ко всем чертям!

А тот, кого паша послал ко всем чертям, в это время сидел в своем полутемном подвале. Платок сполз ему на шею, и блестящий лоб казался отлитым из бронзы. Отблески света легли на бороду, усы, шевелюру, а глаза, пронзительные и черные, будто застыли. Капитан не спал всю ночь, и временами тревога, засевшая у него внутри, вырывалась из горла хриплым клекотом. «Что это со мной? – снова и снова спрашивал он себя. – Только зря вино перевозжу, словно я бездонная бочка!» В глубине души он был даже горд тем, что вино не берет его, как других, которым стоит чуть-чуть выпить, и они уже на ногах не держатся, еле ворочают языком, несут всякую околесицу или льют слезы. То и дело капитан Михалис поднимался и прохаживался взад-вперед, проверяя, тверда ли походка. Повернувшись к Бертодулосу, он неожиданно спросил:

– Так что, ты говоришь, случилось с этой Демонией?

– Дездемонией, капитан. Она была из знатного венецианского рода. Косы у нее были золотые, как мед, и уложены на голове в три кольца, как королевская корона, а на щеке родинка.

Насчет родинки и кос Бертодулос не был уверен, просто ему нравились родинки на щеках и замысловатые прически.

– Ну, и что же дальше?

– Так вот эта аристократка взяла да и полюбила... неисповедимы пути Господни... арапа, черного, здоровенного и уж не первой молодости. Так-то! Хотя, сказать по правде, геройский был человек. А знаешь, за что она его полюбила? За то, что однажды этот старый вояка рассказал ей, как на духу, всю свою жизнь. И так растрогали бедняжку его мытарства, что залилась она слезами и упала в его объятия.

Бертодулос замолчал, потянулся к кружке.

– Ну, дальше! – потребовал капитан Михалис.

– Ты уж извини, капитан... я что-то запутался, – промямлил Бертодулос и почесал плешь. – Потом они вроде как отправились из Венеции на Кипр и поженились, но вскоре, если не ошибаюсь, встал между ними какой-то молодой офицер... Ну и... опять забыл... одним словом, все вышло из-за платка...

– Какого еще платка? Ты, я вижу, заговариваться стал.

– И ничего я не заговариваюсь! Был платок, но только отравленный и заколдованный – уж и не помню как следует... Вот арап и взбесился от ревности и однажды ночью... засунул

этот платок Дездемоне в рот и... – Его душили рыдания, он достал свой платочек, приложил его к глазам и выкрикнул, – задушил ее!

Четверо пьяных, которые слушали, вытянув шеи, так и покатались со смеху. Капитан Михалис рассвирепел:

– Заткнитесь, вы! – Затем повернулся к Бертодулосу. – Утри слезы. Не надо было мне тебя расспрашивать. – А про себя подумал: ну и правильно сделал арап! Так им, бабам, и надо!

Тем временем гуляки наперебой бросились утешать Бертодулоса.

– Не плачь, – наклонился к нему Фуругатос, – все это враки. На-ка лучше выпей, а я тебе спляшу. Давай, Вендузос, врежь на лире, а то у меня пятки чешутся.

Лира, тоже как будто захмелев, запрыгала у Вендузоса на коленях, как молодая любовница. Каямбис смотрел, смотрел на нее и вздыхал, а затем, подперев рукой отяжелевшую голову, затыкнул амане.

Эфендина, украсив лысину листьями артишока и выпятив надутый живот, прихлопывал в такт и подпевал. Или вдруг вскакивал и пускался в пляс вместе с Фуругатосом. Сегодня гуляем, в святые завтра будем выходить!

– Слушай, Эфендина, почему бы тебе не перейти в нашу веру? – уговаривал Фуругатос. – Прими крещение, и въедешь в рай верхом на свинье!

– Не могу, братцы, никак не могу, – отнекивался Эфендина. – Тут уж вы меня извините. Турком родился, турком и помру!

После того как яйца вместе со скорлупой были съедены, капитан Михалис разбил кулаком глиняный горшок и раздал черепки приятелям – тоже на съедение. Бертодулос с ужасом глядел, как эти дикари грызут твердую глину, перемалывают ее зубами и глотают.

Живя на Крите, Бертодулос постепенно начал понимать, что люди, случается, едят яйца со скорлупой, а съев, жуют еще и глиняные горшки, в которых варились эти яйца. Такие люди зовутся критянами. Ах, граф Мандзавино, и что ты здесь позабыл? – спрашивал он сам себя, то и дело поглядывая на дверь.

К рассвету измучились и захрапели: кто на полу, кто, привалившись к бочке, а Бертодулос, очистив хорошенько желудок и умывшись, улегся в уголке, подложил под голову накидку и нахохлился, как мокрый воробей. Один капитан Михалис сидел совершенно трезвый, и сна не было ни в одном глазу.

Когда через потолок в подвал начал просачиваться дневной свет и стали видны объедки, разбитая посуда, блевотина, капитан Михалис обвел взглядом, полным неприязни, своих пятерых шутов, будто впервые их заметил. Прислушался. Жена доставала из колодца воду. Кричали петухи. Издалека доносился угрожающий рокот моря. Во дворе заржала кобыла: наверное, Харитос налил ей воды и засыпал овса. Разорвавшее утренний воздух ржание, нежное и звонкое, как горный ключ, освежило душу.

Видно, я могу водиться только с лошадьми, подумал капитан Михалис. Эх, запретить бы этим убогим людишкам плодиться, пускай бы на Крите остались одни волки да кабаны...

Он встал, потянулся так, что хрустнули кости, и, дав тумака каждому из собутельников, облил их вином из кувшина.

– А ну, поднимайтесь! Вы что, спать сюда пришли?!

Попойка длилась весь день и всю следующую ночь. Стоило кому-нибудь из приглашенных проявить малодушие, над ним свистела плеть. Харитос бегал туда-сюда с новыми закусками. Бертодулос и Эфендина обнялись как братья и всё удивлялись, что за столько лет жизни в одном городе только теперь узнали и полюбили друг друга.

– Я научу тебя играть на гитаре, – обещал Бертодулос. – С нею ты позабудешь печаль и страхи, с нею станешь смело переходить улицу.

– А я тебя научу носить в себе огонь, дорогой Бертодулос, – откликнулся Эфендина. – С огнем внутри легче живется.

У графа поднялось настроение, он чувствовал себя почти что критянином, все эти люди стали ему родными, со всеми по очереди он целовался и только капитана Михалиса еще побаивался: придет в голову какая-нибудь острота, а взглянет на хмурого хозяина, и слова застревают в горле. Поэтому он старался пореже на него смотреть.

– Знаешь, кир Вендузос, – обратился он к торговцу, – ведь мы все в душе артисты!

– Артисты? Что за чертовщину ты несешь?

– Да-да, артисты – это, понимаешь ли, такой народ... им совсем чуть-чуть не хватает до ангелов... Ну как тебе объяснить? Сперва идут животные – ослы, мулы и тому подобное, затем – люди, еще выше – артисты, и уж на самом верху – ангелы. Вот мы, дражайший Вендузос, и есть артисты...

– Ну и что с этого?

– А то, что когда ты будешь умирать, то не забудь прихватить с собой в могилу свою лиру, а я возьму гитару. Умереть бы нам вместе – то-то было бы здорово! Ведь ангелы на небе тоже играют на гитарах и лирах... Вот пришли б мы с тобой к райским воротам и заиграли бы для великого Маэстро, которого толпа, глухая к музыке, называет Богом. Я – канцонетты, а ты – мандинады⁴⁰. И он, наконец, вышел бы к нам, щелкнул кастаньетами и пригласил бы нас в свой бессмертный оркестр.

– Эк куда хватил! – захохотал Вендузос. – Как же мы будем играть – на гитаре да на лире, – пальцы-то у нас в земле сгниют!

– Молчи, несчастный! От твоих слов у меня мороз по коже! – вскричал граф и завернулся плотнее в накидку. – Да неужели руки музыканта...

– Хоть музыканта, хоть нет – все одно сгниют.

– А потому давайте выпьем, пока есть у нас руки и глотка! – подхватил Фуругатос, наполняя кружки. – А что, Вендузос, женщин тоже поедают черви?

– А как же! Всех до единой!

– Даже если они прекрасны, как солнце?

– Один черт! Подтверди, капитан Михалис.

Тот еще больше сдвинул брови:

– Ты, Вендузос, лучше бы разговаривал руками, а ты, Фуругатос, – ногами. Языки у вас как помело, а мозгов ни капли нет!

– Твоя правда, капитан Михалис!

Фуругатос вскочил: он только этого и дожидался. Вендузос поставил лиру на правое колено, Каямбис подпер щеку рукой. Заиграла музыка, полилась песня, и Фуругатос закружился в пляске. Попойка продолжалась. Окружающий мир будто перестал существовать для гуляк, замкнулся в этом подвале. Время перевалило за полдень. Закатилось за горизонт солнце. Наступила ночь. На низеньком круглом столике и на бочках зажгли свечи, а ближе к рассвету обессилевшие, провонявшие рвотой, желтые, как шафран, гости опять попадали на пол, предварительно обгадив все углы.

Над этими почти безжизненными телами, как и вчера, возвышался суровый и трезвый капитан Михалис. Когда чуть-чуть развиднелось, он отвернулся к двери, чтоб не смотреть на этих жалких шутов. Ни о чем он не думал, только вслушивался в себя: вот уже два дня и две ночи, как все внутри у него проваливается в какую-то бездонную пропасть.

Во вторник на рассвете он задремал на миг, прислонясь головой к стене. И лукавый успел-таки подкрасться к нему. Сначала капитану показалось, будто над ним пронесся прохладный нежный ветерок, в лицо брызнули капли весеннего дождя. Какое же это было блаженство – испытать свежее дуновение в зловонной духоте винных паров! Ветерок ласково обволакивал голову, тело, ноги и вдруг, как бы сгустившись, предстал перед ним в человеческом облике.

⁴⁰ Критские частушки.

Михалис взгляделся и различил женские губы, бесстыдно горящие глаза, белоснежные руки с крашеными ногтями и две маленькие босые ступни. В темноте губы шевелились, и тихий, вкрадчивый голос словно прожурчал:

– Капитан Михалис... капитан Михалис...

Он вздрогнул, стряхивая с себя дрему, вскочил так резко, что опрокинул стол. На пол полетели кружки, тарелки, свечи. Повскакали и сонные приятели. Капитан Михалис снял со стены плетку.

– Вон! – дико заорал он и распахнул дверь. – Все вон отсюда!

Первым опомнился и ринулся к двери Каямбис. Перескочил через порог, выбежал во двор и бегом к калитке. Сегодня только вторник, быстро отделался! Гаруфалья, наверно, еще спит. Будто на крыльях летел он к порту. Четверо других, пошатываясь и держась за стенку, друг за дружкой вылезли из погреба. Дневной свет ослепил их: грязные, с помятыми лицами, они только шурились, не вполне понимая, где находятся. Чей это двор, колодец, виноградные лозы, калитка? Наконец Фуругатос немного очухался и уныло побрел вперед. У него то и дело сваливался кушак, и он на ходу подбирал его и пытался завязать, но безуспешно. Сзади ему на пятки наступал Вендузос, за спиной у которого моталась лира. Третьим тащился Эфендина, одной рукой придерживая подштанники.

– Да погодите, куда вы? – взывал он вслед собутыльникам. – Капитан Михалис пошутит... Он сейчас позовет нас обратно. Мы ведь только два дня и две ночи пировали. Еще шесть осталось!

В пьяной голове Эфендины никак не укладывалось, что их могут выгнать так скоро, когда они только-только вошли во вкус. Надо до самого конца пройти по пути греха, тогда и покаяние будет истинным.

Он, не переставая, считал и пересчитывал на пальцах:

– Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье... Да за столько дней гору свинины можно съесть, реку вина выпить! Нехорошо, капитан Михалис, так дело не пойдет! Зови нас обратно!

Тут чья-то рука легла ему на плечо, и Эфендина обрадованно оглянулся, думая, что это капитан Михалис. Но нет, то Бертодулос цеплялся за него, потому что беднягу графа не держали ноги.

– Эфендина, друг, я забыл там, в подвале, свою котомку! – канючил он. – Сходи, принеси!

Фуругатос тем временем дотащился до калитки. Кушак так и волочился за ним по земле. Руки и ноги отяжелели и не слушались его.

– Пойду домой, жена мне разотрет ноги, – бормотал он. – Бывайте здоровы, братцы! В этот раз мы дешево отделались!

– Куда ты, Фуругатос, не бросай меня! – плаксиво окликнул его Бертодулос.

– Ну иди сюда, приятель, я тебя поддержу, – великодушно предложил Фуругатос.

Граф вцепился в кушак, тянущийся за Фуругатосом.

– Я там свою котомочку забыл! Будь другом, принеси!

Но Фуругатос будто не слышал его. Солнце уже проникло в узенькие переулки. Послышался зазывный голос Барбаянниса.

Крестьяне, въехавшие в город на ишаках, предлагали товар прохожим:

– Дрова! Хор-р-рошие дрова!

В окнах булочной Тулупанаса виднелись два противня с дымящимися бубликами.

При виде бубликов Бертодулос остановился. Фуругатос сунул руку в карман жилета, достал монетку и купил бублик, но вдруг вспомнил о прокаженном сыне булочника, и его затошнило.

– На, ешь, я не хочу, – угостил он товарища.

Тем временем Эфендина, весь расцарапанный листьями артишока, потихоньку, чтоб не заметила мать, проскользнул в монастырский двор.

Вендузос еле доплелся до дома да так и сел на пороге. Подбежали жена, дочери, подхватили его под мышки, уложили на диван, растерли оливковым маслом из святой лампы, окурили благовониями, накрыли кучей ковров и бросились за знахаркой – бабкой Фламбурьяреной: пускай поставит ему банки, что ли, а то ведь вон как его колотит, не ровен час, заболит.

А капитан Михалис тем временем оседлал кобылу и заткнул за пояс кинжал с черной рукояткой. Во двор вышла жена, хотела было спросить, куда это он собрался в такую рань: мол, неплохо бы и о доме подумать, – но, увидев его лицо, испугалась. Капитан Михалис, слышав ее шаги, обернулся.

– Ну чего тебе? – хрипло бросил он.

– Может, кофе сварить? – предложила кира Катерина.

– Попью в кофейне. Ступай в дом!

Она вернулась на кухню сама не своя. Риньо уже развела в очаге огонь и готовила завтрак.

– Видала? – в отчаянии проговорила мать. – Этот зверь опять кобылу оседлал, чует мое сердце, в турецкий квартал собрался... Его разве удержишь!

– Опять въедет верхом в турецкую кофейню! – с гордостью в голосе засмеялась Риньо.

Они помолчали, прислушались: кобыла, взбрыкнув, вылетела за ворота, и с улицы донеслось ее ржание.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.